

ЮРИЙ БУЙДА

ЖУНГЛИ



Юрий Буйда

Жунгли

«ЭКСМО»

2010

Буйда Ю. В.

Жунгли / Ю. В. Буйда — «Эксмо», 2010

Новая книга от великолепного стилиста и лауреата множества литературных премий Юрия Буйды! «Жунгли» – метафора современной России, дикой и необузданной, несущейся к бездне и чудом удерживающейся на самом ее краю. Там, где заканчиваются прямые асфальтовые дороги и гаснут огни больших городов, начинаются непроходимые жунгли, где тоже живут – любят и страдают – удивительные люди, герои Буйды. Они одержимы страстями и зачастую порочны и не привлекательны внешне, но каждый из них – подлинный философ, понимающий об устройстве мира гораздо больше записных профессоров. Не проникнуться симпатией к этим жестоким и одновременно ранимым людям просто невозможно. А прекрасный язык автора доставит истинное наслаждение ценителям настоящей литературы!

© Буйда Ю. В., 2010

© Эксмо, 2010

Содержание

Лета	5
Казанский вокзал	16
Закон Жунглей	26
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Юрий Буйда

Жунгли

Лета

Крониду Любарскому

Дом расцветал весной. Лиза и ее муж Николай вытаскивали из кладовки стремянку и начинали красить огромный барельеф, нависавший над входом. Из дебрей причудливого орнамента – сплетение лиан и змей, круговращенье звезд и подсолнухов – мускулистые кентавры с аккуратно отбитыми мужскими признаками хищно тянулись к златогрудым девам с выющимися чешуйчатыми телами, которые, глядя в сад, демонстрировали плоские, но безупречно красивые лица и поддерживаемый руками, обвитый лаврами овальный щит с датой постройки дома – 1888 год, где восьмерки, подобно змеям, кусали себя за хвосты, а заполненные золотой краской шесть колец издали казались гроздьями женских грудей. Руководствуясь собственными представлениями скорее о должном, нежели о прекрасном, Лиза и Николай расцветчивали барельеф золотом и чернью, киноварью и зеленью, пока он не начинал звучать подобно первому аккорду весны – невразумительно, но мощно...

Дом стоял на отшибе дачного поселка Жукова Гора, на гребне холма, отлого спускавшегося в речную пойму, через которую – вдали – был переброшен железнодорожный мост. Несколько раз дом пытались перестроить, но всякий раз дело до конца не доводили: хозяева пропадали то в лагерях, то на войнах (в России трудно быть домовладельцем). Прирастали какие-то клетушки, лесенки, башенки, крылечки, но все это вскоре ветшало, сливаясь со старой основой, пока наконец не слиплось в нечто громоздкое и бесформенное – скорее явление природы, нежели дело рук человеческих. Густые кусты сирени, черемухи, шиповника, яблоня, тополь и береза вращались в дом, становясь такими же его частями, как балясины лестниц, люди или электрические лампочки. В начале лета тополиный пух летал по комнатам, оседал на картинах и иконах, слоисто колыхался на крашенных деревянных полах...

Когда-то этот дом, принадлежавший до революции актрисе мамонтовской оперы, занимали четыре семьи, но после войны, поделенный надвое, он остался за Исуповыми и стариком по прозвищу Енерал, бывшим не то денщиком, не то помощником советского маршала. По утрам Енерал занимался гимнастикой в своем уголке сада. Кепка с лаковым козырьком, трусы до колен и высокие шнурованные ботинки. Зарядку он завершал маршировкой, вызывавшей недоумение у Леты Александровны Исуповой.

Однажды старик объяснил: «Для собственного удовольствия. Пройдусь строевым хотя бы двадцать шагов – и весь день хорош».

От его-то выкриков – «Ас – два! Ас – два!» – Лета Александровна обычно и просыпалась, легко всплывая со дна полузабытья сквозь бесплотную фауну сновидений.

И в свои сто три года она не боялась смотреться в зеркало, перед которым, как гласило семейное предание, любила прибираться Екатерина Великая. Из бронзового овала, залитого венецианским стеклом, старухе смиренно улыбалась женщина с хорошими зубами, бесформенным жабым лицом и слегка косящим взглядом. Причесавшись и помассировав отвислые щеки, она облачалась в светлое – летнее – ситцевое платье с отложным воротничком и повязывала волосы широкой голубой лентой, гармонировавшей с ее чуть выцветшими васильковыми глазами.

В открытое окно легко впорхнула птица, суматошно метнулась к иконке, перед которой горела электрическая лампадка, и вылетела наружу, ударившись в куст сирени, с которого на землю с шумом посыпались крупные капли росы. Обмахнувшись крестом, Лета Александровна отправилась вниз – глянуть на детей да завтракать.

Первый этаж давным-давно превратился в «инкубатор» – так прозвала его Лиза, помогавшая Лете Александровне по дому. Сюда привозили детей политэзков позднесталинских, хрущевских и брежневско-андроповских лагерей, дочерей и сыновей многочисленных родственников и свойственников, да и просто знакомых и знакомых знакомых. Вот и сейчас в доме «дачниквали» дети из Карабаха и Чечни. Белые и смуглые ребятишки с утра до вечера носились по комнатам, по саду, играли, дрались, влюблялись и секретничали.

И все они знали: когда после полудня Лета Александровна отправляется в «колоду» – так называлось громоздкое деревянное кресло под полотняным зонтом, вросшее – или выросшее – у садовой ограды, – беспокоить ее могли лишь Лиза да сын – Иван Абрамович, изредка наезжавший из Москвы.

В «колоде» хозяйка каждый день проводила несколько часов.

«Пора все вспомнить и привести в порядок, – говорила она Лиане, молодой армянке, ухаживавшей за карабахскими и чеченскими детьми. – Наконец-то я достигла возраста, когда можно не сравнивать, а просто вспоминать».

Перед сном она благодарила Бога за счастье, которое Он так щедро дарил и дарил ей: «За что мне столько одной, Господи? И как мне благодарить Тебя?»

Она только что закончила Смольный институт и колебалась в выборе: ехать ли сестрой милосердия в истекающую кровью Боснию – или же продолжать учебу в подготовительном и пепиньерском классах? Вечером собирались праздновать день ее рождения. По комнатам большого дома в Игнатьеве летал тополиный пух. Одетая по-домашнему, в сарафане, с лупившимися от загара плечами, она влетела в кабинет отца. Из кресла, стоявшего подле низкого столика у окна, поднялся рослый военный.

– Князь, моя дочь Леточка... Елена... – Отец насмешливо фыркнул. – Пейзанка!

Мужчина склонился к ее руке, и на мгновение ее обдало запахом его одеколona и той свежестью, которую источало его большое сильное тело, обтянутое красивым мундиром. Он выпрямился и с улыбкой посмотрел ей в лицо.

– Почему же вас зовут Летой, княжна? – спросил он, откровенно ею любуясь и в то же время – смущаясь. – Леточка...

Виски его были тронуты сединой.

– Семейная тайна! – Ей вдруг захотелось показать ему язык, но сдержалась, поймав себя на том, что он ей тотчас понравился. – Умру, а не выдам!

Вечером, гуляя в саду, она рассказала Николаю Александровичу, как Елена стала Летой. В детстве ей ужасно – ну просто ужасно, понимаете? – понравилась повесть Достоевского «Неточка Незванова», она влюбилась даже в имя героини, и старший брат – Сережа, сейчас он дипломат, – милостиво соизволил образовать от ее имени домашнее прозвище – Леточка.

– А получилось неловко: кануть в Лету... глупо, правда?

– Вам идет, – сказал Николай Александрович. – Вам все идет – походка, манера брать вишенку с тарелки, имя... Лета, лето, пуха лёт...

И бережно снял с ее прически тополиную пушинку.

Спустя два года они поженились. Княжна Прозоровская стала княгиней Исуповой. После свадьбы отправились в Костянку, рязанское имение мужа. Утром проснулись – а на полу, на подоконниках, на одеяле и подушках – всюду – лежал тополиный пух, который Николай собрал с ее лица губами...

Незадолго до войны у них родился мальчик, назвали Петром.

Осенью пятнадцатого юная княгиня вызвалась сопровождать генеральшу Самсонову, которая при содействии датского Красного Креста выехала в Германию, в Восточную Пруссию, для розыска тела погибшего мужа – горькой легенды августа четырнадцатого. В сопровождении чиновника прусского военного министерства фон Бенигка они объездили едва ли не все лагеря для военнопленных, пытаясь восстановить обстоятельства гибели Самсонова, а затем выехали в район Щитно, где какой-то польский лесник обнаружил труп командующего русской армией, разгромленной полчищами Гинденбурга в Мазурских болотах, на полях Грюнвальда-Танненберга. Прах генерала в цинковом гробу был отправлен из Кенигсберга в Копенгаген, а оттуда, через Стокгольм, – в Петроград. Щитненский ландрат Виктор фон Позер пообещал на месте гибели Самсонова воздвигнуть памятник (и сдержал слово).

В России Лету Александровну встречали как героиню.

Она сказала мужу:

– После этой поездки я чувствую себя старой старухой. Эта война, эти несчастные люди... В Кенигсберге я побывала у гробницы Канта, вдруг вспомнила о звездном небе над головой и душе человеческой – и разрыдалась... Бог с нами, но почему мы не с Богом?

– Просто ты повзрослела, – мягко возразил Николай Александрович. – И тебе нужно отдохнуть.

В шестнадцатом родился Мишенька, в семнадцатом – Катюша.

После октябрьского переворота Николай Александрович последовал примеру своего старинного товарища по Пажескому корпусу генерала Брусилова и пошел служить большевикам, был инспектором кавалерии, затем его перевели в красный Генеральный штаб.

Когда впоследствии друзья младшего, Ивана, спрашивали о причинах решения Исупова, Лета Александровна отвечала сухо и сдержанно: «Он служил России».

– Империи, – не без язвительности уточнял Илюша Хан, спустя несколько лет погибший в мордовском политлагере. – Большевики расстреляли царскую семью, ваших родных и близких, в то же время аристократы – а ведь ваш род древнее Романовых – служили палачам не за страх...

– Англичане отрубили голову Карлу, французы – Людовику, русские расстреляли Николая. Это уже история.

Когда ее спрашивали об отношении к Романовым, она лишь пожимала плечами:

– Мы обожали государя, но, пожалуй, немножко презирали его как человека: он был такой буржуа. А эти их спириты и кликуши? Сначала мсье Филипп, проходимец, оказавшийся Низьером Вашолем, потом Распутин... В Петергофском дворце у великих княжон на стенках висели рекламки мыла Брокара, шоколада Сиу...

«Ну, за это их, конечно, следовало расстрелять! – хохотал Илюша Хан. – Да вы большевика, Лета Александровна!»

Она любила этих беспутных молодых людей, страстно игравших в борьбу с режимом и нешуточно страдавших над пропастью, пролегшей между ними и народом, который жил своей растительной жизнью и знать ничего не знал, и не хотел знать о тех, кто боролся за его освобождение.

Дети еще не встали, когда они сели на кухне пить чай. Две старухи и молодая армянка – костистая Лиана, за которой ухаживал внук Леты Александровны – Евгений.

– Звонил Иван Абрамыч, – сказала Лиза, придвигая чашку хозяйке. – Будет с женой и сыном.

Лиана опустила глаза. Она всегда страшно смущалась, если Лета Александровна застала ее с Женей где-нибудь в саду или на веранде. Похоже, у них роман.

Евгений, как и Лиана, был врачом. Они познакомились прошлой осенью, когда в дом прибыли карабахские дети. Поздно вечером он стремительно вошел в кухню, где голая до пояса Лиана умывалась над тазом, стоя спиной к двери.

– О, простите! – Он отпрыгнул к порогу, задев ногой табурет, сам едва удержал равновесие. – О боже!

Женщина повернулась к нему, держа перед собою полотенце.

– Тише! Детей разбудите!

Женя вконец сконфузился.

– Простите... но что у вас на спине... откуда такой шрам?

Лиана спокойно улыбнулась.

– Осколок. А теперь можно мне одеться?

Она прошла через ад армяно-азербайджанской войны, была ранена дважды. Теперь вот и чеченских детей лечила.

– Радио включить? – спросила Лиза, глянув на часы. – Новости будут.

– Только потихоньку.

Передавали известия из Чечни.

– Дудаев негодяй, Масхадов негодяй, все эти кавказские князья – заурядные негодяи, – вдруг прервала молчание Лиана. – Людям ведь все равно, при какой власти жить. Им нужно было сто раз подумать, прежде чем ввязываться во все это...

– А русским? – Лета Александровна поправила ленту на голове.

– При чем тут русские? – удивилась армянка. – Русские ни при чем. Русские всегда убивают. Это нам думать надо...

Она вдруг смешалась. Лета Александровна накрыла ее костистую руку своей мягкой пестрой лапкой. В наступившей тишине (Лиза выключила радиоприемник) стало слышно, как сопят и возятся в спальне дети.

«Сколько же их? – подумала Лета Александровна. – Как-нибудь надо бы сосчитать...»

– Продукты кончаются, – прошептала Лиана. – Рафик и Шамиль должны завтра подвезти...

– Я буду в саду. – Лета Александровна поднялась. – С цветами.

Николай Александрович умер в тридцатом от разрыва сердца. Его хоронили с военным оркестром, на панихиде выступали бритоголовые усатые генералы. Красноармейцы в буденовках дали три залпа в воздух из ружей. За Летой Александровной оставили квартиру. Старший, Петр, уже пробовал себя в литературной критике, неожиданно для матери стал активистом комсомола, сменил имя – подписывался Юсуповым, впадал в ярость, если ему намекали на аристократическое происхождение. Жил он отдельно. Лишь пожал плечами, когда ему сказали о смерти деда, Александра Петровича, известного историка.

Через два года Лета Александровна вышла замуж за Абрама Ивановича Долгово, из старинной семьи, давнего знакомого, друга семьи. Он был ученый-химик и генерал, подолгу пропадавал на каких-то секретных полигонах в Поволжье. Отношения их были ровны и теплы, проникнуты нежностью и участием. Спустя полтора года Лета Александровна родила Ивана и превратилась в статную дородную даму с чуть набрякшим, но по-прежнему красивым лицом.

Дочь вышла замуж за офицера и уехала в Западный край. Писала редко – да между ними никогда и не было настоящей близости. Вскоре Катя родила девочку и привезла ее в Москву показать бабушке.

Лето вся семья проводила на даче. Там-то они и узнали об аресте Петеньки. Катя тотчас собралась и укатила с дочкой в Белоруссию (через несколько месяцев взяли и ее мужа). Абрам Иванович возбудил все свои связи, но делу было решено придать громкую огласку, и хлопоты пропали впусте. А зимой тридцать седьмого Петра Юсупова расстреляли.

Она была матерью врага народа, но ее лишь однажды допросили, и довольно небрежно, и отпустили. На прощание следователь съязвил: «До скорой встречи, ваше высочество». Она обернулась в дверях и холодно заметила: «Если уж так Вам угодно, то обращайтесь ко мне правильно, по-русски: ваше сиятельство».

Это была первая жуткая зима, которую она пережила с болью, в муках, слезах.

Вторая выпала на сорок первый год, когда погиб Мишенька, записавшийся в московское ополчение: он был убит в первом же бою. Скромный, тихий ученый-ассириолог, продолживший дело Александра Петровича Прозоровского.

Много лет спустя Иван сочинил стихотворение, посвященное матери, и две строки из него Лета Александровна часто шептала перед иконкой: «Зимой Тридцать страшного года, зимой Сорок тяжкого года...»

Она пережила и эти страшные зимы.

«Как мне благодарить Тебя, Господи?»

Утро она провела в саду, составляя букет к приезду сына. Помогавшая ей Лиана волновалась в ожидании встречи с Женей. После обеда она увела детей на речку, а Лета Александровна, как всегда, отправилась в «колоду». Отсюда открывался чудесный вид на пойму, дышавшую донником и чуточку – речным илом. Над высокой травой, уворачиваясь от тополиного пуха, носились стрекозы. Вдали погромыхивало – быть может, приближалась гроза. Громадные белые облака стремительно разворачивались и, оставляя за собою перистые хвосты, мчались к Москве, по пути густея и вливаясь в подсиненную облачную массу.

«Какое счастье, – думала старуха. – Боже, какое счастье...»

Она думала ни о чем: о себе, сыновьях, облаках, о том, что открыла наконец секрет жизни: надо просто расти, как растет трава или растет само время...

По железнодорожному мосту к Москве пробежала электричка – цепочка тусклых огоньков.

Вечерело.

Повернув голову, она увидела спускавшегося садом сына. В полушаге за ним шла высокая женщина. Лета Александровна достала из кармашка платок, вытерла рот: с возрастом мышцы лица ослабли, и слюна незаметно стекала на подбородок.

– Ну что, милый? А где Женя?

Она подставила щеку – сын поцеловал. И еще раз. Значит, волнуется: как-то матушка примет новую жену? Двух прежних приняла плохо, хотя ни разу об этом сыну не сказала.

– Он Лиане бросился помогать. – Иван легко рассмеялся, потянул за руку жену. – Это Руфь. А это Елена Александровна.

Сыну было за шестьдесят, но выглядел он, несмотря на седину, молодо. Конечно же, тюрьмы и лагеря не прошли бесследно: Лиза шепотом докладывала, что сын перенес уже три операции на желудке, – но сам матери об этом ни гугу.

– Хорошо у вас тут. – В голосе молодой женщины звучала легкая растерянность: робела. – И воздух сладкий...

– Идите приберитесь, да будем ужинать, – велела Лета Александровна. – И пошлите Николая за вином.

Иван дернул щекой:

– Не надо Николая, мы привезли.

Лизинго мужа он не любил, звал Крысоедом, но – из уважения к матушке – заглазно.

Старуха проводила молодых взглядом. И на этот раз Иван женился на красавице, хотя ведь сам не раз говорил: «Красота до вечера, доброта навеки». Стройна, мила... Что ж, он поэт. Лете Александровне уже успели донести его новые стихи, посвященные Руфи:

Будь последней в жизненной чреде,
вместе и находкой, и утратой,
и единственной провожатой —
там, на роковой моей черте...

Та-та-та... Сумбурновато и выпренне. Не лучшее из того, что он написал. Впрочем, предыдущей жене, Верочке, он и вовсе не посвятил ни строки, что приводило ее в ярость: ей хотелось увековечиться.

Верочка страстно ненавидела этот дом, ревновала Ивана к матери, легко затевала сцены, без которых, кажется, и жизнь ей была не в жизнь. «Кста» – презрительно отозвалась однажды о ней Лета Александровна. Что означало это междометие – «кста» – она, впрочем, и сама не знала. Набор звуков. Взрыв сухих согласных, разрешающийся бескостной гласной мякотью. Другими ругательствами она не пользовалась.

– Единственное, что мы создали подлинно своего, это язык, – заметила она как-то с усмешкой. – Все остальное – колесо, кирпич или там телеграф – могли создать и немцы. Если мы чем-то миру интересны, то лишь своим языком.

– Ну да, – тотчас согласился Иван. – Ничего другого и создать не могли. Недаром Куракины отправляли белье стирать в Голландию. Русские прачки стирали из рук вон: не привыкли к тщательной работе, к деталям. Деревянная цивилизация не требует искусства труда.

Лета Александровна лишь покачала головой: «Эк у тебя легко! Чуть что – люди, народ. Выдь-ка на площадь да крикни: «Эй, народ!» – и никто головы не повернет, ни один Иван, ни одна Сарра...»

Кста...

Иван тяжело переживал разрыв с Верочкой. А когда отутбил (по Лизиному выражению), рассказал о забавном случае. Однажды Верочка увидела, как, собираясь к ужину с гостями, Лета Александровна достает из шкатулки свое ожерелье, и ночью вдруг разрыдалась на Ивановом плече: «Ты б видел этот жест! Это движение! Умри – такому не научишься, это – от рождения. Княгиня!»

Дети в столовой стучали ложками-вилками и громко перекрикивались.

Тем временем Лиза – Руфь взялась ей помогать – накрывала стол в просторной кухне, у распахнутого в сад окна.

Иван пристроился в уголке с папироской и со своего места подначивал Женю, старательно ассистировавшего Лиане, которая унимала жующих и галдящих детей.

– А теперь умываться и в постель! – Женя хлопнул в ладоши, подражая Лиане. – Договорились?

Дети с любопытством уставились на мужчину. Лиана спрятала улыбку и повторила: «Умываться и в постель», – после чего ребятишки, грохая стульями, потянулись из столовой.

– Евгений Иванович! – укоризненно сказал Иван сыну. – Если ты приказываешь, то никаких «договорились» быть не должно, никаких вопросов – одни ответы!

– Зиф! – крикнула Лиза в столовую. – Это ты брал шумовку?

Высокий мальчик лет двенадцати-тринадцати с плоским красивым лицом развел руками:

– Шумовку? Которая шумит?

– Которой мешают...

– Кому мешают?

– Иди спать! – Лиза махнула рукой. – Шельма!

– Ну что ты от него хочешь? – усмехнулась Лета Александровна. – Татарин же...

Иван в своем углу громко рассмеялся.

– Башкир, мама! Ну да тебе все равно. Тебе имя неправильное дали. Надо было – Империя, ей-богу! Империя Иванна! Ну не даром, не даром тебя Сталин любил!

Руфь с интересом обернулась к хозяйке.

– Семейная шутка, – сказала Лета Александровна.

– Любил, любил! – со смехом настаивал сын. – Ну скажи правду!

Лета Александровна сделала сердитое лицо.

– Я пойду к себе, переоденусь к столу.

И скрылась за дверью.

Незадолго до войны в Кремле был прием, на который были званы и Абрам Иванович с Летой Александровной. Народу в зале было много. К ним подбежал молодой человек в полувоенном костюме и тонких очках и велел следовать за ним. Пройдя через толпу, они оказались лицом к лицу со Сталиным, стоявшим в окружении свиты. Сталин искоса посмотрел на них и неторопливо проговорил:

– Мне товарищи рассказывают чудеса о вашей работе, Абрам Иванович. Вы ведь из старой фамилии, не так ли? Долгово... Ваш предок как-то произнес замечательные слова: «Царю правда лучший слуга. Служить – так не картавить, картавить – так не служить», – он повернулся к своим и с удовольствием повторил: – Картавить – так не служить!

– Долгово, Иосиф Виссарионович, происходят от татарского мурзы, крестившегося и ставшего боярином князя Александра Невского, – вдруг вступила Лета Александровна. – Они звались Долгово-Сабуровыми. А процитировали вы князя Якова Долгорукова, Петрова сподвижника, их род восходил к Михаилу Всеволодичу Черниговскому.

Сталин с любопытством разглядывал Лету Александровну. Молодой человек в тонких очках что-то торопливо ему нашепывал. Он отстранил его нетерпеливым жестом.

– Знаю, знаю... Исупова... Ведь ваш первый муж был инспектором кавалерии. Я его помню. Специалист, – усмехнулся. – Когда-то вы владели чуть не всей Россией, княгиня...

– Да, государь, – при всеобщем изумленном молчании Лета Александровна сделала движение, как если бы собиралась присесть в книксене. – Мы по-прежнему ею владеем – правда, уже только ее историей.

Сталин от души рассмеялся: ответ понравился.

Вокруг зашумели и заулыбались с явным облегчением.

– Служить – так не картавить, – повторил Сталин. – Хорошо сказано.

Он уже утратил интерес к Абраму Ивановичу и его жене.

Они скрылись в толпе.

К ним подбежал давешний молодой человек в полувоенном костюме и с улыбкой проговорил:

– Ну, знаете, Елена Александровна, так с товарищем Сталиным еще никто не говорил... Государь! – Он взмахнул обеими руками, словно полоща белье. – Но ему, кажется, понравилось.

И убежал.

Домой возвращались пешком. И уже в виду дома Абрам Иванович вдруг сказал:

– Какая же власть у одного человека! И все – один!

– Это хорошо, что Сталин один, – заметила Лета Александровна. – Он всегда один, а народу, к счастью, всегда много.

А через месяц Абрама Ивановича арестовали и отправили в заточение: сначала в лагерь, затем в шарашку.

Увиделись они только в сорок четвертом. Абрам Иванович был плох: истощал, кашлял, затравленно оглядывался то и дело... «Нет, содержали хорошо, Леточка, шарашка – не лагерь, но знаешь...» Таким его и запомнил сын – дрожащим от холода в жарко натопленной комнате,

надломленным, жалким. Абрам Иванович перебирал на большом столе папиросы, не решаясь закурить, – сгребал их в кучу, снова раскатывал и снова сгребал...

Лета Александровна извелась, глядя на таявшего мужа.

Его вернули на службу, но это ему было уже не в радость. Ночами он не спал. Не спала и она, боясь пошевелиться. Ей все время ужасно хотелось спать. Казалось, она могла заснуть на острие иглы, но стоило лечь в постель, как сон улетучивался, и это было мучительно.

Абрам Иванович вспоминал кремлевский прием и то, как Лета Александровна назвала Сталина государем.

– Наверное, ты права. Наверное, мы просто обречены на них... Иван Грозный убил сына Ивана, Петр Великий убил сына Алексея, этот, говорят, погубил сына Якова... Банальность какая, Боже... Мы ходим и ходим по кругу, мы обречены на повторение своей истории. – Помолчал. – Нам все кажется, что мы свою историю обречены пожирать, словно это какая-то невкусная еда... неаппетитная, но другой нет... Но однажды вдруг понимаешь, что это она нас пожирает, она – нас... этакое историческое чревоугодие... смертный грех...

В сорок шестом они получили эту дачу с кентаврами и чешуйчатыми женщинами на фронтоне. А на исходе следующего лета Абрам Иванович умер. У Леты Александровны случился инсульт, после которого и ослабли лицевые мышцы.

Она по-прежнему гордо носила свое тело по улице, словно хоругвь – в храм, и однорукий продавец поселковой лавки, завидев ее, восхищенно шептал: «Лошадь!» «На лошади!» – почтительно возражал ему дружок-инвалид, побиравшийся с гармонью по пригородным поездкам.

Она сама себя лечила – зимними купаниями в проруби. Николай освободил ото льда прибрежную полосу метра в три шириной, и каждое утро в сопровождении Лизы Лета Александровна ступала полными белоснежными ногами в студеную темно-зеленую воду. Лиза терпеливо ждала на берегу, наблюдая за огромной белой женщиной, плававшей среди льдинок. От купаний пришлось отказаться, когда стали плохо слушаться ноги.

Сыну удалось поступить в университет. Помогли и друзья первого мужа, занимавшие высокие посты в военном ведомстве.

Вот тебе и любовь Сталина, вот тебе и Империя Ивановна.

Но ведь и Иван был небезгрешен. Друзья сына рассказывали ей, как на очередном допросе, не выдержав попреков «чуждостью» и «изменой родине», Иван вдруг вскочил и закричал следователю: «Не смейте мне говорить о родине! Это мои предки создали эту страну! История Прозоровских, Исуповых и Долгово – это и есть история России! А за вами куцых полвека, да и те краденые!» Поэт...

– Музыку слушайте без меня, – заявила Лета Александровна после жаркого. – Каюсь и сдаюсь: не могу слушать Бетховена, которого лупят в таком темпе. Наверное, возраст.

Сын включил маленький телевизор, стоявший в кухне. Передавали последние известия. Лета Александровна слушала – смотреть не могла: то ли слишком мало было изображение, то ли не выдерживала суматошного мелькания кадров. Плачущий женский голос требовал выслать из России всех черножопых, чтобы решить какие-то там проблемы (какие – Лета Александровна не расслышала: наблюдала за Лианой).

– Сколько же лет империя будет превращаться в страну, – пробормотал Иван. – Их быют, а они требуют: еще! еще! Ей-богу, в этой стране права человека нужно насаждать так же, как Екатерина насаждала картошку, – из-под палки, под ружьем...

– И вырастут не права человека, а картошка, – вдруг подал голос Женя. – Если вообще вырастут.

Лета Александровна махнула на него платком: помолчи.

– Иногда мне кажется, что страны и не было, – сказала старуха. – Тем более – империи. Была и есть – Россия. С панцирем, но без костей. А какая ж империя без костей?

– И слава богу. – Сын поднял бокал с вином. – За ракообразных! Их движение задом наперед – наука, которую мы в тонкостях постигли за тысячу лет.

В наследство с дачей им достались Николай и Лиза, жившие во флигеле за тополями. До войны они служили какому-то партийному бонзе, занимавшему этот дом. В самом начале войны Николаю миной оторвало ступню, он был признан негодным к воинской службе и вернулся домой – сюда. Про него и Лизу рассказывали страшную историю. Лиза была женой родного брата Николая. Николай был в нее влюблен. Чтобы завладеть женщиной, он якобы написал донос на брата. Дачные старухи – «злое семя» – жевали эту историю много лет.

«Ну почему ты не веришь? – удивлялся Иван. – Во всяком случае, на него это похоже...»

Похоже, однако, что сын остался равнодушен к красивым Лизиним глазам.

Лиза и впрямь была замужем за братом Николая, который во время войны исчез невесть куда. Правда было и то, что Николай и Лиза долго жили в незарегистрированном браке. Ждали чего-то? Или кого-то? Но, скорее всего, к злым сплетням дачных старух побуждали их отношения: разве может муж так любить жену?

Детей у них не было, и с первого дня, как Лета Александровна въехала в этот дом, Николай и Лиза взяли ее под свое покровительство.

Однажды Лета Александровна позвала Ивана посмотреть, как Николай будет «делать крысоеда».

У хозяина флигеля было большое хозяйство, одних овец умудрялся держать больше полусотни. А где овцы, там и крысы. Прихрамывающий Николай выкатил из сарая большую железную бочку из-под горючего и бросил в нее несколько заранее отловленных крыс.

– Может, не надо вам на это смотреть? – хмуро спросил он. – Да и мальчик...

– Ничего, – сказала Лета Александровна. – Мы посмотрим.

Николай раскопал бензиновую паяльную лампу, и когда пламя ровно загудело, сунул ее в бочку, поставленную на попа. Опаленные крысы заверещали, бешено запрыгали, норовя вырваться из ловушки, но Николай объяснил, что это им не удастся: по высоте бочка в самый раз, не выпрыгнут. Постепенно хаотическое движение зверьков упорядочилось. Они носились по кругу толпой. Слышно было только, как их когти цокают по металлу. Из бочки пахло паленой шерстью. Наконец голод сделал свое дело: крысы вдруг набросились на самую слабую и израненную свою товарку и в мгновение ока сожрали ее. Потом еще одну. И эта жуть продолжалась, пока в бочке не осталась одна-единственная тварь, с окровавленной мордой и покрытая струпами. Николай ногой повалил бочку на бок, и крысоед метнулся в ближайший сарай.

– И что потом? – сдавленным голосом спросил Иван.

– Теперь он будет жрать своих, – ответил Николай. – Пока кто-нибудь его не остановит.

Тогда Иван на удивление легко отнесся к увиденному. Сказал: «Если ты хотела показать мне, что делает жизнь с русскими людьми, ты этого не добила. Слишком просто свалить на паяльную лампу, на Сталина, на Россию, судьбу, черта, Бога все зло, которое творим мы сами, которое позволяем творить. Можно сколько угодно кивать на злых гениев или святых праведников, но от этого абсолютно ничего не меняется: мы сами отвечаем за свои поступки».

Но впоследствии он много раз возвращался к этой сцене в своих публицистических произведениях, печатавшихся сначала на Западе, а потом и в России. Крысоед стал для него метафорой русской жизни – тем более страшной, что это была и его жизнь.

– Трудно мне с русскими, – посмеивался он. – Наверное, потому, что я один из них.

К Николаю же после этого он проникся настоящей ненавистью, чуть заглушенной лишь с годами. Крысоед – только так он его и звал. «Не могу! Почему-то он у меня брезгливость вызывает...»

Лета Александровна вспомнила тетушку, настоятельницу монастыря, у которой они с мужем побывали в гостях незадолго до Первой мировой. В семье тетушку звали Купчихой – за статью, за пышную красоту. Поговаривали, что матушка-настоятельница и после пострига подерживала отнюдь не платоническую связь со своим старинным другом Федором Ивановичем. Когда беременная Леточка выходила с нею из монастырской церкви после службы, на паперти Лету обступили молчаливые нищие, и она с перепугу отдала им все бывшие при ней деньги, лишь бы они не дотронулись до нее своими руками.

Тетушка увела ее к себе, привела в чувство, потом сказала:

– Брезгай людьми, девочка, но не жизнью.

Леточка вспыхнула.

– Как же отделить жизнь от людей?

– Для того и живем, чтоб научиться этому, – сказала Купчиха, глядя на племянницу бездонными черными глазами. – Потому и верим в Бога...

– Ас – два! Ас – два! – выкрикивал сквозь сжатые зубы Енерал.

Домаршировав до клумбы, он остановился, вытер фуражкой пот с лысины.

– Доброе утро, Петр Никитич, – сказала Лета Александровна. – Ночью, кажется, был дождь.

От наволгшей земли поднимался пар, выкрашенный утренним солнцем в ярко-розовый цвет.

– Лета Александровна! – крикнул Енерал. – Все хочу спросить... У вас зубы свои или не свои? Простите, конечно...

Лета Александровна сдержанно улыбнулась.

– Свои, Петр Никитич.

– Завидую. – Енерал нахлобучил кепку. – Пора и чай знать.

После общего утреннего чаепития встречали машину с продуктами. Чеченские мальчишки повисли на Шамиле. Евгений ревниво поглядывал на Лиану, которая оживленно болтала о чем-то с Рафиком. Пришедший на подмогу Крысоед держался поодаль.

– Ну! Ну! – Лиза хлопнула в ладоши. – Дети, отправляйтесь в сад. А вам хватит болтать – тащите все в кухню, там разберемся!

Мужчины взялись за коробки и ящики.

Лета Александровна наблюдала за разгрузкой с веранды, где для нее поставили легкое креслице. Руфи с трудом удалось усадить рядом с нею Ивана. «Не хватало тебе ящики таскать! А завтра что будет?» Иван ворчал: не любил, когда ему напоминали о хворобах.

С веранды через широкий просвет в деревьях было видно пойму с железнодорожным мостом и мчавшиеся к Москве пышные облака, ярко освещенные солнцем. Высоко в небе гудел самолет.

– А что это там? – спросил вдруг Зиф. Он подошел сзади и присел на корточки между Летой Александровной и Иваном. – Гляньте-ка.

От самолета отрывались какие-то пятнышки – их становилось все больше, пока не стало ясно, что это парашютисты.

Один из чеченских мальчиков что-то громко крикнул. Младший попятился к веранде, не отрывая взгляда от самолета. Приложив ладонь козырьком ко лбу, Лиана смотрела вверх. Возле нее уже собрались армянские дети. Из глубины сада прибежали и остальные ребята.

– Да это учения! – со смехом сказал Женя. – Чего испугались, люди большие и маленькие! Это же Москва, а не Кавказ!

– Это солдаты, – серьезно сказал старший чеченский мальчик («Как же его звать? – попыталась вспомнить Лета Александровна. – Руслан? Нет... Асланбек?»). – Они убивают.

– Асланбек, помолчи! – крикнула Лиана. – Где Шамиль? Шамиль! Рафик!

Армянские малыши заплакали – тихо, почти без голоса.

– Черт знает что такое! – пробурчал Иван, решительно поднимаясь из кресла. – Лиана! Шамиль! Да остановите же их, кто-нибудь...

Он вдруг запнулся, оглянулся на мать. Она не шелохнулась, но что-то в выражении ее лица изменилось. Она привлекла к себе Зифа и сердито крикнула:

– А ну-ка, вы, черненькие! Идите сюда! – Она не могла сказать им, что солдаты никого не будут убивать, она не могла сказать им, что под ее защитой они будут в безопасности, она лишь еще более сердито повторила: – Идите сюда! И вы, беленькие! Я здесь.

И хотя она не сказала ничего такого, что могло бы успокоить и ободрить детей, они вдруг побежали со всех сторон к старухе, сидевшей в креслице на веранде с поднятыми, словно крылья у курицы-клуши, руками и натекшей на подбородок слюной, и сгрудились, сбились вокруг нее, облепили ее, все еще всхлипывая и дрожа, – а она лишь касалась руками их черных и русых голов, их плеч, лиц, бормоча: «Я здесь... Я здесь...»

Электричка, которой уехали Иван и Руфь, обогнула холмы по плавной дуге и устремилась, набирая скорость, к железнодорожному мосту. В вагоне зажгли свет.

– Мужчины, женщины, кто угодно, а они к ней бросились, – вдруг проговорил Иван. – Ах, мама, мама...

Руфь прижалась к его плечу.

С моста открывался вид на дачный поселок, на Кандауровские холмы и пойму, на высокое небо, залитое закатом, на реку и облака, грозно разворачивавшиеся в вышине, в окна хлынул запах донника, запах речного ила...

– Она там, – сказал Иван.

И Руфь поняла, что он говорит о матери, сонно следившей из «колоды» за убегавшей электричкой, пока вокруг нее разворачивался целый мир – жаркий, предгрозово-пахучий, кипящий и даже жестокий, но она лишь спокойно внимала этому миру, провожая вечность благосклонной улыбкой, вечность, в которой хватало места всему и всем, даже ей, старой одинокой женщине, любившей лёт тополиного пуха и неслышно бормотавшей: «Господи, как же мне благодарить Тебя? Как, Господи?» И голова у нее немножко кружилась, ибо она уже почувствовала ответ Бога...

Казанский вокзал

Он оделся потеплее, проверил, все ли пуговицы застегнуты, достал из стоявшего в углу старого валенка спрятанную от внучки бутылку водки и осторожно приоткрыл дверь. Предусмотрительно смазанные с вечера петли не выдали его.

В темной гостиной пахло неряшливой женщиной, перегаром и особенно мерзко – апельсинами, в жирной мякоти которых тушили окурки.

Мишутка, уже одетый, сидел бочком на низкой табуретке в прихожей, спрятав лицо за полый материнного пальто.

Овсенька натянул рыжий брезентовый плащ, убедился, что шапка сидит ровно, и не глядя взял Мишутку за руку, привычно подавляя вздох: пальцы мальчика были пугающе холодны.

Вниз они спустились по лестнице: старик боялся лифта. Прошли вдоль стены дома – быстро, вжимая головы в плечи и не оборачиваясь, чтобы не приманить недобрый взгляд.

Узкая улочка вывела их к платформе пригородной электрички. Ездили они всегда бесплатно, и контролеры их не трогали: старику прощали безбилетность по возрасту, а с глухонемого малыша – какой спрос? Мишутка всю дорогу дремал, притулившись плечом к окну и спрятав зябнущие руки в рукава.

Сын привез Овсеньку в Кандаурово лет тридцать назад. Спустя год после переезда старуха умерла, и сын уговорил Овсеньку обратиться в крематорий. Старику выдали урну. Он не знал, что с нею делать. Засунуть в дырку в стене и запечатать табличкой с именем? На это не решился. Отвезти в деревню и похоронить как полагается? Да узнай деревенские, что в гробу банка с пеплом, – сраму не оберешься...

Когда умер и сын, Овсенькино одиночество стало полным. Пившая запоями внучка раз другой в месяц устраивала ему выволочку, убирая в его комнате и гоня шваброй валявшуюся под койкой старухину урну. Овсенька никогда ни с кем не спорил. Внучку это раздражало: ей нужен был противник, а не это безответное костлявище.

«Ты потому такой, что у тебя ничего своего нету, кроме прозвища! – в сердцах заключала внучка. – И не было».

Овсенька легко соглашался: и не было.

Прозвище же свое он получил в детстве, когда в компании однолеток бегал под Рождество по домам и кричал: «Овсень! Ов-сень! Подавай нам всем! Открывайте сундучки, доставайте пяточки!» А поскольку кричал он звонче и веселее всех, то и прозвали Евсея – Овсенькой.

Когда внучке надоело держать припадочного Мишутку на цепи, она разрешила Овсеньке брать мальчика с собою в Москву, куда старик наладился ездить почти каждый день. С утра до вечера они бродили в районе Каланчевки, и так уж как-то само собой выходило, что добрые люди совали Мишутке то пирожок, то конфетку, а старику иногда наливали стаканчик водки.

Вечером они отправлялись на Казанский вокзал, на платформу, у которой ждал отправления поезд на Вернадовку. Овсенька с умилением рассказывал проводникам о том, как замечательна трехчасовая стоянка в Шилове, где можно и дешевых яблок купить, и выпить рюмку, и даже в кино сходить, пока перецепляют вагоны, формируя состав на Касимов. Он подходил к окнам и спрашивал у пассажиров, куда они едут, некоторые отвечали, другие же даже не смотрели на него: мало ли сумасшедших на столичных вокзалах.

К полуночи они возвращались домой, иногда за компанию с отдежурившимся милиционером Алешей Силисом, который жил по соседству. Стараясь не шуметь, Овсенька и Мишутка пробирались в свои углы – в последнее время мальчик укладывался у прадеда в ногах – и замирали до утра.

Они вышли на Каланчевке и спустились к Плешке.

На широком тротуаре лежал скрюченный бродяга по прозвищу Громобой. В подпитии он любил потешить компанию историей своей инвалидности: совесть не позволяла ему изображать калеку, и, чтобы не обманывать людей, этот правдолюб оттяпал себе ступню мясницким топором.

И вот сейчас он неподвижно лежал на стылом асфальте, выставив из-под кавалерийской шинели «честно отрубленную ногу», через которую переступали самые нетерпеливые из прохожих.

Овсенька присел на корточки рядом с Громобоем и тронул его за плечо:

– Вставай, служивый, отдохнешь ведь!

Издали, от железнодорожного моста, под который уносился автомобильный поток, за ними скучливо наблюдал постовой милиционер.

Старик попытался поднять Громобоя, но тот был слишком тяжел для него.

– А может, помер? – к ним подшаркала одетая в свои сто одежек Тамарища с десятком пустых бутылок в авоське. – Эй, хенде хох, руссише собака!

Громобой не шелохнулся. Овсенька взял бродягу двумя пальцами за шею – пульс не прощупывался. Вытерев руку о штаны, старик поднялся с колен.

– Сержанту, что ли, сказать...

– Он и сам не дурак, – возразила Тамарища, беря Мишутку за руку. – Или тебе с ребенком охота в свидетели? Пошли. Шнель, шнель!

Заглядывая по пути во все урны, они пересекли Плешку подземным переходом и вышли на перрон под крышу Казанского вокзала.

Сбившиеся в кучу татары-носильщики молча покуривали в ожидании поезда. Овсенька поздоровался с ними, приложив к шапке-ушанке твердую, как кость, пятерню. Татары засмеялись. Молодой носильщик с щегольскими черными усами над капризно вырезанной губой дал Мишутке бутерброд с сыром. Мальчик посмотрел на старика.

– Я сытый, – сказал Овсенька, – ешь, пока не взопреешь.

Они пробились через густую толпу, миновали ларьки с ярким разноцветным товаром, нырнули в щель между штабелем ящиков с пивом и бетонным забором и спустя несколько минут оказались у вагончика Пиццы.

Этот домик на колесах, когда-то служивший строителям бытовкой, время от времени перетаскивали с места на место, чтобы не мозолил глаза разным начальникам, но вскоре он возвращался к облупившейся стене, на пятачок, давно известный вокзальному люду. У Пиццы можно было выпить и закусить на свои, погреться, взять напрокат костыли или ребенка для сбора подаяния. Сходились здесь, разумеется, свои – чужим, особенно ночью, сюда было лучше не соваться.

Сухая и желчная Пицца при виде Мишутки заулыбалась.

– Золотой мой пришел! – Она сняла с электроплитки кружку с бульоном и налила мальчику в пластмассовый стаканчик. – А вам особое приглашение требуется?

Овсенька с многозначительной миной выставил на стол бутылку.

– Что праздновать будем? – равнодушно поинтересовалась Пицца, доставая из шкафчика тарелку с хлебом и стаканы.

– Мое деньрождение, – объявил старик.

– Сто лет, что ли? – осведомилась Тамарища. – Ну, тогда хайль Гитлер, Евсей Овсеньич!

Скосив от напряжения лицо, Пицца – «по такому случаю» – открыла банку шпротов. Овсенька бережно разлил водку, чокнулся с женщинами. Выпили. Пицца и Тамарища принялись закусывать. Старик прислонился спиной к стене, закрыл глаза. Ему стало тепло, и он лениво расстегнул плащ и снял шапку...

Согревшись и подремав, Овсенька с Мишуткой отправились в метро – кататься: это было их любимое развлечение. Старик плохо разбирался в хитросплетении линий и переходов метрополитена, но твердо знал главное: вернуться надо на «Комсомольскую». Оба любили подолгу ездить в поезде, станцию «Площадь Революции» с ее медными ружьями, курами и пограничными собаками – и не любили эскалаторы, на которых у старика кружилась голова, а Мишутка, когда лестница шла вниз, ни с того ни с сего начинал мычать и хвататься за Овсенькино пальто.

Они вышли на «Тургеневской»: старику захотелось по нужде. Темнело. В холодном воздухе пахло снегом и бензиновой гарью.

Взяв мальчика за руку, старик протолкался через толпу, колготившуюся вокруг ларьков на углу Мясницкой, напротив Главпочтамта, – «Сушеного рыба к пивку задаром! Куплю золото, радиодетали желтые, ветхую валюту! Если ты, сука, еще раз...» – и через несколько минут нырнул в подворотню. Поглядывая то на бегущих по тротуару прохожих, то во двор, где однообразно взрывался автомобильный двигатель, он расстегнул штаны и закричал от удовольствия, освобождаясь от горячей тяжести в мочевом пузыре. Негромко пукнул. «Как девушка, – с умилением подумал он, вдруг вспомнив деревенскую подружку, которая всякий раз, пукнув, со смехом закрывала лицо платочком. – Шутница была... Ньюрой, что ли, звали?»

Мишутка дернул старика за рукав, но Овсенька и сам уже услышал приближающуюся со двора машину и, торопливо застегивая штаны и жмурясь от яркого света фар, прижался к стене.

Автомобиль вдруг остановился. Из него выбрался рослый парень в длинном пальто.

– В сортир Москву превратили, – проговорил он, смерив Овсеньку взглядом. – Огнеметом надо выжигать, как тараканов...

«Лик-то у него какой... Иисус Христос прямо, и строгий такой же, – подумал старик. – Чего это он про тараканов?»

– Ваша правда, – согласился на всякий случай Овсенька. – Ну, так мы пойдем...

Первый удар пришелся в ухо – шапка слетела наземь, второй в грудь – старик ударился боком о стенку и сполз в лужу. Громко замычав, Мишутка вдруг бросился на обидчика, но тот схватил мальчика за руку, в которой был зажат перочинный ножик, и швырнул на старика.

Хлопнула дверца, машина уехала.

Овсенька торопливо ощупал мальчика – тот вырвался.

– Ты чего? Ножичек? Да щас, щас найдем... Где-то тут... Да вот! – И он со счастливой улыбкой протянул Мишутке плохонький перочинный нож с коротким ржавым лезвием. – Эк ты его! Ну, не плачь, чего... Забудь, ладно... Чего не бывает... Поделом ведь: не пачкай... Впредь мне, дураку, наука...

Кое-как пристроив на голове шапку, потянул Мишутку из подворотни.

В метро на Овсеньку с веселым любопытством уставилась компания подростков в кожаных курточках с заклепками и бахромой. Старик отвечал им взглядом боязливым, но ласковым: «Тут-то, в метре, бить не станут...» Наконец парень, перевязавший голову по-пиратски черным платком, наклонился вперед и, едва сдерживая смех, спросил:

– И тебя Бог создал по своему образу и подобию, а, дед? – вытянул руку к Овсеньке. – Посмотри на себя в зеркало, дед, я тебя умоляю!

Старик глянул: черный, лохматый, страшный.

Пацаны громко захохотали, и только тогда Овсенька разглядел: в руке у пирата было не карманное зеркальце, а песья фотография. Хотел сплюнуть, да воздержался: вдруг обидятся?

Прежде чем вернуться к Пицце, он купил в киоске на Плешке бутылку водки. Вдыхая, считал и пересчитывал мятые денежки – но делать нечего: день рождения. Да и настроение сделалось – выпить.

К вечеру Пицца включила электрообогреватель, и в вагончике стало душно.

С удовольствием наблюдая за ловкими движениями женщины, собиравшей на стол, старик неторопливо рассказывал о приключении в подворотне на Мясницкой.

– А Мишутка-то – с ножиком! – с восхищением сказал он. – Надо же! Мал-мал, да вон как за старого вступился. – Он запнулся и уставился на мальчика, вдруг издавшего странный горловой звук. – Ты чего, малый, а? Не плачь, Москва слезам не верит, да и времена...

– Времена... – Пицца вздохнула. – Поостерегся бы мальчишку таскать туда-сюда в такие-то времена. А ну пропадет? Ему десяти нет, а он с ножичком...

Старик согласно покивал:

– Конечно, конечно... Так ведь и дома сидеть – знаешь...

Пицца снова вздохнула: знала.

Дверь распахнулась, из темноты раздался голос Синди:

– Помогите же, суки, втащить его!

Пицца с Овсенькой ухватились за толстые мужские руки и втащили большого человека в вагончик. Сзади его подталкивали Синди и Барби.

– На кой он вам сдался? – сердито спросила Пицца, разглядев на голове мужчины кровь. – Где подобрали?

Мужчина, рыкнув, с трудом перевернулся на бок и застонал. На нем было добротное пальто и дорогие ботинки.

– Во дворе валялся, – отдышавшись, объяснила Синди. – Там же холодища, еще сдохнет, ну и решили... Да ладно тебе, не мурзись! – Присев на корточки, она быстро и умело обыскала мужика, сняла часы на золотом браслете, бросила на стол кожаный бумажник. – Ну вот...

Она вытащила из бумажника пачку денег и присвистнула.

– Баксы, – сказала флегматичная Барби. – Значит, его не грабили, а просто били. Сколько?

Синди зажмурилась: много. Синяк под ее левым глазом почти скрылся в морщинках. Очень много.

Мужчина на полу опять застонал.

– Так. – Синди деловито пересчитала купюры, отделила тонкую пачечку Пицце. – Твоя доля. С горкой. – Несколько бумажек сунула Овсеньке. – Мишутке на конфеты. – Остальное спрятала под юбкой, облизнулась. – Гуляем?

– А если он очухается и схватится? Или дружки какие-нибудь заявятся? – Пицца покачала головой, похожей на огурец. – Они тебе глаз на жопу натянут – телевизор сделают.

– А ты трепись поменьше! – огрызнулась Синди.

Овсенька с любопытством разглядывал хрусткие зеленые бумажки с портретами американских президентов и не мог сообразить, сколько ж ему обломилось: десятка, двадцатка, еще десятка...

Поколебавшись, Синди все же вернула в бумажник одну купюру и, хитро усмехнувшись, опустила его в карман мужского пальто. Погрозила пальцем старику – «Спрячь!» – и налила себе водки. Жадно проглотила, выдохнула.

– Ну, осталось придумать, за что пьем!

– У меня сегодня деньрождение, – сказал Овсенька. – Сто лет в обед.

– Чего ж молчал? – вскинулась Синди. – А ну-ка! – Выдала Барби деньги. – Гуляем! Водки, мяса, шоколада – не жалея! И быстро у меня! Хлеб есть?

Барби, ворча, отправилась в магазин.

Сестры-малышки жили неподалеку от Плешки и работали главным образом на Казанском вокзале. Издали они походили на девочек-подростков, взгромоздившихся на высоченные материны каблуки. Выдавали их пустые равнодушные глаза и обилие штукатурки на потрепанных физиономиях. Они носили пластмассовое золото в прическах, латунное – на пальцах и с ранней весны до поздней осени не носили ничего под платьями, о чем знали на Казанском все

– носильщики, милиционеры, бандиты и даже Овсенька. Брали их обычно парочкой и ценили за вместительные беззубые рты (обе носили зубные протезы).

Пока Барби бегала за выпивкой, Синди рассказала о сегодняшнем клиенте: толстяк, пригласивший ее к себе домой, называл себя «деятелем августовской революции». На баррикады у Белого дома он пришел со сломанной рукой в гипсе, на котором оставили автографы Ельцин, Руцкой, Хасбулатов и другие знаменитости. Клиент с гордостью показал этот гипс, хранившийся как святыня за стеклом в серванте.

– Заплатил? – деловито осведомилась Пицца.

– У меня не заплатишь!.. И бутерброд с сыром дал, гадюка.

Она презирала мужчин. «Я люблю любовь, – говорила она, – а они работы требуют».

Вернулась Барби с огромной полиэтиленовой сумкой, доверху набитой снедью и бутылками. Пицца и Синди принялись разбирать пакеты и кульки, а Барби нарезала ветчины для Мишутки. Мальчик глотал мясо не жуя: проголодался. А когда наконец насытился, сделал себе бутерброд потолще про запас и убрался за фанерную перегородку, где стоял топчан и жил смиренный котенок.

– Следы-то у него вроде прошли, – озабоченно заметила Барби. – Ты шейку ему мазал чем-нибудь?

– Само зажило, – ответил Овсенька.

Речь шла о мозоли на Мишуткиной шее, натертой ошейником, который мать надевала на него, когда перед уходом на работу сажала мальчика на цепь.

– Я б такую мамашу в дерьме утопила. – Синди хлопнула в ладоши, приглашая всех к столу. – Наливай, Евсень-Овсень!

Выпили за старика, за его родителей, и снова разговор вернулся к Мишутке и его жестокой матери. По такому случаю Барби поведала историю о святой материнской любви: во время Ленинградской блокады одна женщина, спасая дочь от голодной смерти, жарила на сальной свечке собственные пальцы, отрубая их по одному – на обед, на ужин...

– В прошлый раз она у тебя свои сиськи жарила, – ядовито заметила Синди. – Скоро до жопы дойдешь. Повело тебя...

Овсенька вспомнил свою военную службу в осажденном Ленинграде. Однажды при авиационном налете осколком бомбы ранило госпитальную лошадь, и люди, стоявшие в очереди за хлебной пайкой, набросились на несчастную животину и разорвали – живую – на кусочки...

А Барби действительно повело. Всякий раз, напиваясь, она начинала рассказывать о своем сыне: как ходила беременная по обувным магазинам, где часами наслаждалась запахом кожи; как одна добиралась до роддома, оставляя на асфальте влажные пятна – по пути отходили воды; как щекотно поначалу было кормить мальчика грудью; как лечила мальчика от малокровия черной икрой, а он ту икру выплевывал ей в лицо; как ревела, когда он впервые выговорил «мама»...

Все знали, что никакого ребенка у нее не было, но, когда Барби, глотая слезы, повествовала о том, как сдавала ребенка в приют, женщины непременно плакали.

– Сидим это мы с ним в приютском садике, а он мне вдруг и говорит: мама, я понял, маленькие кошки – это кошки, а когда кошки вырастают, они становятся собаками...

– Эх, девки! – Овсенька шумно высморкался. – Вспомнишь, как жил, и что? Три разочка вкусно поел да разок сладко поспал – и все...

– Золотое у тебя, Овсенька, сердце, – сказала Барби, вытирая нос тряпочкой. – Давайте, девки, за Овсенино сердце выпьем!

– Да нету у меня сердца, истерлось! – старик подмигнул Барби. – Какая-то жила внутри дрожит, и все. Старики – народ бессердечный...

Ему вдруг захотелось чеснока. Сошел бы и лук, но ни чеснока, ни лука у Пиццы не оказалось.

– Шас! – Барби с трудом поднялась, упираясь обеими руками в стол. – Будет тебе чеснок, золотая рыбка... – Шагнула к выходу и, пошатнувшись, ударом ноги распахнула дверь. – Отцепись, плохая жисть, прицепись, хорошая!

– Да стой ты, кобыла! – Синди вцепилась ей в юбку. – Мусора заметут!

– Эй! – крикнул из темноты Алеша Силис. – Дед у вас?

– Здесь я, Леша! – обрадованно закричал Овсенька. – Заходи, погрейся!

Помахивая рукой перед лицом (накурено было – топор вешай), Алеша поднялся в вагончик. Это был молодой, свежий мужчина со скуластым розовым лицом, близко и глубоко посаженными глазами и всегда плотно сжатыми губами, над которыми темнела тоненькая полоска усов.

– День рождения у деда, – сказала Пицца, наливая Алеше. – Сто лет в обед.

– А этот уже наобедался? – Сняв форменную фуражку, сержант брезгливо переступил через лежавшего на полу мужчину. – С такими вот и погоришь, Пицца. Что у него с башкой?

– Ударился. – Пицца вытащила из-под стола табуретку и придвинула к Алеше тарелку с холодным мясом.

– Мишутка где? – спросил Силис, чокаясь с Овсенькой. – Со здоровьем!

– Тут он, живой-здоровый. – Старик с любовью смотрел на милиционера. – Хороший ты, Алеша, человек, правда!

– А я с тобой и не спорю, – усмехнулся Силис. – Тебе кто морду набил?

Синди пьяно погрозила ему пальцем:

– Я попала в автомобильную аварию, товарищ сержант!

– Это не авария, это ручная работа, – без улыбки возразил Алеша. – Про Громобоя слышали? Помер. Целый день на тротуаре провалился, только сейчас за ним выехали...

– Помянем Громобоя! – предложила Барби, уже забывшая о чесноке. – Ну и сволочь он был!..

Мужчина на полу зашевелился и с рычанием сел. Обвел шальным взглядом компанию – и вдруг заорал во всю глотку:

О чем задумал, Громобой,
Иль ты боишься смерти?

Пицца захохотала дурным голосом, а мужик продолжал:

Ты будешь счастлив двадцать лет,
Я слова не нарушу,
А ровно через двадцать лет
Отдашь свою ты душу!..

Синди и Барби зааплодировали.

Взял в руку финское перо
И кровью расписался...

И так же внезапно, как начал, мужик оборвал песню и схватился за голову:

– Вот гады! Ну, гады же! Глянь, что там у меня?

Пицца презрительно скривилась:

– Ничего. Дурная башка только.

Барби протянула ему стакан:

– Поправь головку, лох.

Он не раздумывая проглотил содержимое стакана и уставился на костлявые коленки Барби.

– Я не лох. – Встал – головой под потолок. – Я русский человек. И исключительно православный!

– И как тебя такого уработали? – задумчиво проговорила Синди. – Ну ладно, топай отсюда. Живой – и слава богу.

Он посмотрел на нее маленькими бараными глазами и вдруг по-детски улыбнулся. Достал из кармана бумажник, не глядя вынул купюру (единственную, оставленную ему Синди).

– Я угощаю, девушки. – Развел руками. – Извини, сержант. Они меня от смерти спасли. Я правильно говорю? Я человек исключительно благодарный! За мой счет, девушки.

Женщины переглянулись.

– Ладно, сядь! – велела Синди. – У нас и без тебя есть что выпить. Тебя как звать, облом?

– Гордым именем Иван. – Скинув пальто на кучу старого тряпья в углу, где Пицца хранила прокатные костыли, Иван сел рядом с Барби, которая сонно шевелила губами и кивала стакану. – За кого пьем? За меня?

И засмеялся собственной шутке. Глаза его, однако, не смеялись.

– За Громобоя, – сказал Овсенька. – Помер который.

– Хороший был человек, – с чувством проговорил Иван, наливая в стаканы и глядя на женщин блестящими глазками. – Гро-мо-бой! В самом деле Громобой?

Синди вяло махнула рукой:

– Да куда ему... Обыкновенный чокнутый. А как выпьет, совсем дурак дураком. – Хрипло хохотнула. – Все Бога ждал!

– Бога?

– Ну. Как найдет на него – шел на платформу и ждал поезда, на котором Бог приедет. Иисус Христос. Наплачешься с дураком... Стоит на платформе, весь как на иголках, прыгает на своем костылике, шею тянет – ждет. Христа – с поезда! Пассажир Христос! А поезд подойдет – начинал метаться, выплядывать, пассажиров за руки хватал: а вдруг этот... или тот? А может, кто видал его? Это Бога-то! – Синди так похоже изображала ужимки Громобоя, что даже Алеша Силис заусмехался. – Я ему говорю: дура пьяная, не ездят Христы на поездах. Да и как же ты его не узнаешь в толпе, если он вдруг и правда явится? Ведь Бог... А он мне: а как же его узнать? На нем погоны, что ли? Ведь он и тогда явился не в царской короне, а как все, и поначалу его никто не признал, и били, и казнили, а если б признали, разве отважились бы казнить?

Овсенька, подавшись вперед, замотал головой:

– Дурак он, девонька, Громобой твой, прости, Господи... Это не мы Бога, а нас Бог будет искать и найдет обязательно. Как же мы Его не узнаем, если Он придет нас спасти? Узнаем, конечно. Он либо знак подаст... Либо еще как...

Алеша Силис холодно посмотрел на старика.

– Интересный вы народ: все хотят за копейку спастись. – В голосе его звучало незлое презрение. – Да чтоб спастись, надо делать что-нибудь. А вы что делаете? Ты на метро с Мишуткой катаешься, эти блядуют да воруют... За это спасать?

– А по-твоему, как в магазине должно быть? Заплатил – получи товар? На хрена такой Бог? – проворчала Пицца, которая несколько раз в году ходила в Елоховскую, после чего запиралась в вагончике и два-три дня кряду пила черную.

– Ну, хотя бы верить надо, – продолжал Алеша уже с раздражением. – А кто верит? Ты, что ли? Или ты? Да ты даже не знаешь, кто такой Бог!

Пицца оскалилась:

– Кабы знала, то и не верила б.

Иван поднял ручки, призывая к спокойствию:

– Братцы, братцы, послушайте! Я много когда-то читал... Сейчас, правда, бросил... Но люблю про это поговорить... Я же исключительно русский человек! А когда русский человек про это говорит? На бегу, в пивнушке, по пьянке, впопыхах – милое дело! Только и это надо-едает. Братцы! Конечно, спасемся. В говне по уши живем, бездельничаем – это правда, сержант тут в точку: недостойны. Но ведь были бы достойны – тогда кому Бог нужен? Достойным Бог не нужен. Он нам нужен. – Он с грохотом опустил руки на стол. – Все равно спасемся, православные! Русь никогда ничего не делала, да по-настоящему, как в книгах, никогда и не верила, а спасалась, и мы спасемся!..

– То другая Русь была, – возразил Алеша.

– А Русь всегда другая! – Иван счастливо засмеялся. – Одни про нее одно, другие – другое, а она все равно – третья! Все равно – другая! И насрать! Ура! Наливай!

Алеша со вздохом надел фуражку.

– Ладно, дед, пошли – пацану домой пора.

У выхода из подземного перехода стояла машина «Скорой помощи». Угрюмые усталые санитары молча и деловито упаковывали в полиэтиленовый мешок скрюченное нагое тело Громобоя. Чуть поодаль тлел костерок.

Овсенька пнул дымящийся башмак – все, что осталось от нищего с «честно отрубленной ногой», – и поспешил за Алешей и Мишуткой, которые уже скрылись под железнодорожным мостом.

В воняющем мочой и табаком вагоне народу было мало.

Алеша дал мальчику шоколадку, и тот принялся ее бережно кусать, держа над раскрытой ладонью, чтобы крошки не пропадали.

– Кончал бы ты с этим, – сказал Алеша, когда электричка тронулась в сторону Курского вокзала. – Таскаешь пацана с собой – зачем? Либо потеряется, либо потеряешь. А как он расскажет, где живет? Ведь он и писать не умеет...

Овсенька кивнул:

– Прав ты, конечно, Леша. А что же делать? Я бы в деревню с ним уехал, да ведь померла моя деревня, мне говорили, нету ее больше. Значит, тут доживать надо. – Он со вздохом достал из кармана полупустую бутылку. – Будешь? Давай, давай, сынок, у тебя ведь тоже душа есть, я знаю, Леша...

– Чего ты знаешь? – Силис сердито поправил фуражку и, оглянувшись на дремлющих пассажиров, быстро глотнул из бутылки. – Все, остальное ты сам, я в форме.

Овсенька выпил и спрятал бутылку в карман.

Грохнув дверью, в вагон ввалился продавец с лакированной книжкой в руке.

– Любовный роман для взрослых «Эммануэль»! – скучно возгласил он. – В твердом прошитом переплете... Кто интересуется, может полистать, ознакомиться...

Овсенька встрепенулся, полез в карман за деньгами.

– Давай купим, Алеша, почитаем... – Вынул десятидолларовую бумажку. – Молодой человек!

Силис выхватил у него купюру, зашипел:

– Совсем сдурел! Книжка понадобилась! На эти деньги Мишутке можно ботинки купить, дурила!

Овсенька виновато улыбнулся.

– Откуда у тебя доллары?

– Синдюшка дала.

– Спрячь и никому не показывай. Народ сейчас такой, что и за рубли убьют. И внучке не показывай – отберет.

– Отберет, – с улыбкой согласился Овсенька. – Леш, может, возьмешь их у меня? Не умею я с ними...

– Ладно, давай. Поменяю – верну.

Когда подъезжали к Бутову, Мишутка слизывал с ладони последние шоколадные крошки.

Жена встретила Алешу в полупрозрачном халатике.

– Опять своего Овсеньку провожал? – насмешливо спросила она, подставляя щеку. – Филантроп.

За ужином Алеша нехотя ковырял вилкой мясо и думал о Мишутке и о своей жизни с Катей. Детей у них не было, хотя жена давно лечилась. Она была красива волнующей кошачьей красотой, и Алеша терял голову, когда она, капризно изгибаясь всем гладким ленивым телом, манила его пальчиком в постель. Женился он по любви, хотя его отец был против: «А что ты о ней знаешь, парень? Знаешь, чем она до тебя занималась?» Алеша догадывался, но говорить об этом не хотел, боясь деталей и подробностей. Однажды набросился на ее лечащего врача, который сказал ему: «Что ж делать, Алексей Сергеевич, если ее матка так привыкла к абортam, что уже не держит плод?» Он боялся говорить обо всем этом и с Катей, хотя она как-то сказала: «Если хочешь, все расскажу...» Он хотел, очень хотел, но не мог в этом признаться. Догадывался, что долго жить без детей, одной любовью – а жену любил зоологически – невозможно. В самой глубокой глубине его души таилась до поры мысль о том, что однажды он скажет жене все, все, все, и Алеша ненавидел эту мысль, и себя, и даже плакал тайком от Кати, и давил эту мысль, как давят башмаком тлеющий окурок... Набравшись смелости, предложил ей усыновить Мишутку, но она лишь чуть-чуть приподняла красивую бровку: «Припадочного? Глухонемого? Не люблю цепных детей...» И больше он таких разговоров не затевал.

– Алешенька! – пропела на четыре тона Катя из спальни. – Иди ко мне в чертог золотой!

Среди ночи он вышел в кухню покурить. Затягиваясь сигаретой, тупо смотрел на тусклое зарево, поднимавшееся в небо над Москвой и слабо шевелившееся, и ему казалось, что там живет и шевелится огромное и беспокойное животное, сам факт существования которого отравляет мир и бесстыдно напоминает о древней, дочеловеческой тайне жизни... «Бог, Бог... Чего они все про Бога? – думал он, прикуривая новую сигарету. – Явится – не явится... Зачем Ему являться?» По настоянию жены он читал Библию, ходил иногда в церковь и на выступления проповедников, но так пока и не понял, зачем ему этот самый Бог, о котором с легкостью болтают все вокруг. Он подозревал, что настоящий Бог существует, но это такой Бог, которого человек ни за что не пустит в свою жизнь с будильником, зарплатой и премией, с газетами и теплым туалетом, выпивкой и телевизором. И если Он и явится, его и впрямь не узнают. «Христос был преступник, нищий и еврей, то есть трижды гад, – думал Алеша. – Хуже Громобоя или Пиццы. Кто ж Его такого готов принять? Само собой, если и явится, Его или прибудут по пьянке, или по тюрюгам замотают...»

Жена во сне всхлипнула, забормотала, и сердце Алеши болезненно сжалось от любви и жалости к ней, к Мишутке, к дураку Овсеньке, к себе, наконец, к миру, которому уже не дожидаться Спасителя...

Овсенька вздрогнул, проснулся и сел на постели.

– Кто тут? – шепотом спросил он, вглядываясь в темноту. – Есть кто? Нет?

Ему показалось, будто кто-то коснулся его щеки, и от этого прикосновения ему стало так хорошо, тепло и легко, что это напугало его.

Осторожно выбравшись из-под одеяла, он подошел к окну и отвел штору.

Падал снег.

– Вон чего! – прошептал Овсенька. – Это снег пошел...

Редкие снежинки плыли в темном холодном воздухе, плавно опускаясь на асфальт.

Старик поправил одеяло и посмотрел на Мишутку. Мальчик улыбался. Овсенька знал, что Мишутка улыбается только во сне, и никому об этом не рассказывал: это была его тайна. Он лег, вдохнул запах детских носочков («Пора мыть мальчика...») и закрыл глаза.

– Первый снег, значит, – пробормотал он, засыпая. – Вон чего...

Закон Жунглей

Вечером Франц-Фердинанд упал с крыши и разбился. Он часто забирался куда-нибудь, падал и ломал то ноги, то руки, а то и ребра. Старик – соседи дали ему кличку Штоп – считал, что внук поступает правильно: если родился с крыльями, то нужно летать. После таких попыток Франц-Фердинанд ходил в гипсе, а потом все повторялось: он залезал на крышу типографии или на высокое дерево, прыгал, падал и орал. Старик относил его домой, поил самогоном с ложечки, после чего мальчик обычно засыпал. А если не засыпал и ныл, старик ставил ему градусник в задницу – это было лучшее средство, чтобы утихомирить пацана.

Но на этот раз Франц-Фердинанд, похоже, разбился по-настоящему. Притащив его домой, Штоп ощупал мальчика, но так и не понял, что же тот сломал: ноги, руки и ребра были вроде целы, но парень кричал, не хотел самогона, а когда увидел градусник, вообще зашелся ревом. Он лежал на боку в обнимку с черным деревянным пингвином, которого Штоп называл дроздом, и ныл не переставая.

Пришла Гальперия и вызвала врача. В «скорой» знали Франца-Фердинанда и его деда, поэтому приезжать не хотели. Врачи «скорой» вообще неохотно выезжали в Жунгли – поселок за кольцевой автодорогой, входивший в состав Москвы и официально называвшийся Второй Типографией, где жили по большей части старики, инвалиды и алкоголики. Здесь стояли здание типографии, где печатали бухгалтерские бланки, четыре пятиэтажки с потеками гудрона на стенах, десяток приземистых бараков из красного кирпича, множество сараев, гаражей, каких-то покосившихся хибар – вот что такое были эти Жунгли. Вдобавок здесь, в этих самых покосившихся хибарах, жили нелегалы – таджики, узбеки, афганцы и бог весть кто еще. «Не удивлюсь, если встречу здесь у вас Осаму бен Ладена, – говорил участковый Семен Семеныч Дышло. – Тут его никакое гестапо не найдет».

«Скорая» приехала часа через два. Молодая женщина в белом халате осмотрела мальчика и сказала, что его нужно везти в больницу.

– Господи, – сказала докторша, – что это у него?

Старик перевернул внука на живот, чтобы докторша могла разглядеть крылья. Это были уродливые полуметровые отростки на лопатках – из-за них мальчик мог спать только ничком и был похож на какое-то насекомое – то ли на паука, то ли на кузнечика. Женщина покачала головой: ей еще никогда не доводилось сталкиваться с таким уродством.

– Тощий-то он у вас какой, – брезгливо сказала она.

– Дрищет много, – сказал Штоп. – Другим звезду подавай, а ему – подристать. Ты ему давление померь – сразу полегчает.

– Не учите меня жить, – сказала докторша. – Может, у него позвоночник сломан. Или еще что-нибудь. – Она протянула руку к мальчику – тот взвыл. – Ты можешь помолчать?

Франц-Фердинанд завыл еще громче. Гальперия дала ему пингвина, но мальчик стал бить пингвина ногами.

– Медведь! – закричал Штоп, топая ногами. – А ну, медведь!

Парень попытался спрятаться под кроватью, но старик схватил его за ногу.

– Не удивлюсь, – сказала докторша, оглядывая захлавленную комнату, – если у вас тут медведи водятся.

– На хера им тут водиться? – удивился Штоп. – Медведей тут нету. Это он медведя боится. Скажешь ему медведя – он и боится.

– Вы когда-нибудь моете тут полы? – Докторша подняла ногу, пытаясь отодрать что-то от каблука. – В больницу надо, а не медведем пугать.

– Не, – сказал Штоп, – в больницу я его не дам, его там ампутируют. Ты ему лучше укол сделай.

– В больницу он его не даст, – с удовольствием подтвердил шофер «скорой», покуривавший у двери. – Мы его давно знаем. Здесь все они такие, в этих Жунглях. Боевые.

– А если умрет?

– Не, – сказал Штоп, – не умрет: мы Бога любим.

– Верите в Бога?

– На хера нам в Его верить? – снова удивился старик. – Мы Его любим, а не верим.

– Он-то у вас хоть знает, кого любит? – Докторша кивнула на мальчика. – Или вы за двоих любить собираетесь?

– Мы обое, – закивал старик, – обоим сподручнее любить. – Подмигнул докторше. – Парочкой всегда сподручней.

Докторша сделала укол – мальчик затих.

– Иди сюда. – Штоп поманил докторшу к комоду. – Глянь-ка.

В руках у него было пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскрес». Штоп открыл яйцо с таким хитрым видом, словно это был ларчик с сокровищами, и показал докторше крошечную тушку Ленина, который лежал внутри – при галстучке, в пиджачке, брючках, ботиночках, сложенными на груди ручками.

– Видала? – Старик лучился счастьем. – Как живой, сучара!

Докторша потрогала Ленина, вздохнула, собрала чемоданчик и уехала. Трясаясь в машине, она вспомнила слова своей бабушки: «Где один, там и дьявол, где двое, там и Бог», но ее бабушка была опрятной старушкой, которая не пользовалась носовым платком больше одного раза, а от этого старика пахло перегаром и потом.

Франц-Фердинанд сполз на пол, лег в обнимку с черным деревянным пингвином и заснул. Гальперия укрыла его суконным одеялом. Штоп занялся любимым делом – он стал зажигать спичку и ждать, пока она догорит до ногтей, а потом зажигал следующую. Он мог заниматься этим часами.

– Не понравилась мне эта докторша, – сказал вдруг он.

– Чем это она успела тебе не понравиться? – удивилась Гальперия.

– Руки горячие, – ответил Штоп. – А у настоящих докторов руки холодные, как у мертвых трупов.

В молодости Штоп отличался тем, что не мог пройти мимо какого-нибудь крана, кнопки или рычага, чтобы не повернуть, нажать или дернуть. Однажды он дернул или нажал что-то не то, в результате сгорел склад пиломатериалов, и его посадили в тюрьму. На суде от него все пытались добиться ответа на простой вопрос – почему, зачем, с каким умыслом он это сделал, но он только и отвечал: «Ну штоп, значит, штоп...» «Штоп посмотреть, что из этого выйдет?» – не выдержал наконец судья. «Ну, – с улыбкой ответил подсудимый, – просто, значит, штоп это самое». Так его и прозвали – Штоп.

После выхода из тюрьмы он, к всеобщему удивлению, женился на довольно яркой и дерзкой женщине. Она родила ему дочь, которую Штоп – он этим гордился – назвал Камелией. «Это цветок, – объяснял он соседям. – Как роза, только камелия».

Его жену прозвали Велосипедисткой: она раз пять уезжала от него навсегда, к другим мужчинам, оседлав велосипед с ржавой провисшей цепью, который скрежетал на всю округу, но потом возвращалась как ни в чем не бывало. Первым делом Штоп бил ее изо всей силы под дых, а потом волок в спальню, где они долго приходили в чувство, вопя на всю округу.

Штоп восхищался ногами своей жены и по первому требованию покупал ей новую обувь. Стоило ей надеть туфли и пройтись по комнате, как он прощал ей все ее грехи. «Ну нога! Ну сучара! – кричал он в восторге. – А жопа? Играет жопа! Это не жопа – это же веселая ярмарка!» И хлопал в ладоши, приседая и топая ногами.

Велосипедистка ненавидела Жунгли. В последний раз она не успела уехать от мужа: на ночном шоссе ее сбил грузовик.

На память о ней у вдовца остались сорок пар ее обуви – лодочки, босоножки, танкетки, которые он иногда доставал из кладовки, раскладывал на полу и принимался вертеть в руках, обнюхивать, бормотать и цокать языком. Туфли были, разумеется, все ношенные, со стоптанными, сломанными каблуками – покойная была женщиной корпулентной, большегрудой и задастой – и пахли потом, вьевшимся в стельки, но Штоп и слышать не хотел о том, чтобы их выбросить.

Еще у него осталась дочь Камелия, которая в девять лет надела лифчик покойной матери, а в пятнадцать весила более ста кило.

Он пил самогон с вареньем, называя это пойло пуншем, от которого беспрестанно пердел, и целыми днями ходил в кальсонах с желтой от мочи мотней. А вечерами снимал со шкафа гармошку и бездарно наяривал какую-нибудь польку корявыми черными пальцами, припадая щекой к мехам, топая босой корявой ногой и выкрикивая отчаянно, с надрывом, со слезой: «Ай да Чайковский, сучара! Ай да Моцарт, сучара ты моя милая в жопу!»

Первого мая и Седьмого ноября Штоп надевал пиджак со значком общества книголюбов и выходил во двор с гармошкой и бутылкой самогона. Самогоном он угощал всех желающих, поздравляя их с праздником. При этом он то и дело принимался играть что-то бодрое, маршевое, ухмыляясь и подмигивая всей своей полубритой рожей старухам-соседкам, которых зазывал потанцевать или хотя бы спеть хором. Но старухи только смотрели на него из окон и одобрительно покрикивали: «Так их, Алешка! Так их!»

Собирались соседи, иногда присоединялся участковый Семен Семеныч Дышло. Они выпивали за столом, который был вкопан в углу двора, под черемухой, потом мужчины потихоньку разбредались кто куда, за столом оставался один Штоп. Он сидел на лавочке и наигрывал на гармошке, прерываясь лишь затем, чтобы приложиться к бутылке.

Наконец Штоп набирался до кондиции, после чего начинал маршировать в одиночку с гармошкой по улице. Он нещадно рвал меха и орал, опасно кренясь: «А ну, сучара! А ну!» Дойдя до конца улицы, он поворачивал назад и снова маршировал. И так он и ходил туда-сюда, пока не падал. Или шел за дом, где в огороде стоял небольшой – «с собаку, блядь» – памятник Сталину, который Штоп случайно обнаружил, когда затеял капитальный ремонт ограды. Памятник был спрятан в гнилом дощатом гробу на полутораметровой глубине, и кому он принадлежал и как здесь оказался – выяснить не удалось. Он был отлит из чугуна, и Штоп время от времени пытался очистить его от ржавчины, но бросал дело на полпути, так что Сталин, хотя и стоял под старым зонтиком, был весь какой-то пятнистый. Штоп с ним разговаривал на своем языке, называя его, конечно, сучарой, а то и ругая за что-то, но потом играл ему что-то похожее на «Амурские волны», маршировал и кричал: «А ну, бляди, по стойке леж!»

Штоп работал слесарем в домоуправлении и считался мастером на все руки. Ему отдавали сломанные электробритвы, охотничьи ружья, швейные машинки, и он все это добро возвращал к жизни. Он никогда не расставался с маленьким перочинным ножичком, которому дал когда-то имя Леопольд. Он резал им хлеб, ковырял в ушах, чесал затылок, делал свистульки для Фердинанда, а когда ему приносили какой-нибудь сломанный фотоаппарат, он первым делом доставал из кармана свой ножичек и говорил: «Ну что, Леопольд, хватит мне тут дрыхнуть там, сучара, пора бы и это самое вот». Женскую задницу он называл европой, лысину – лениным, а вот свой член – гитлером.

Он обожал футбол. Стоило на лужайке за типографией появиться мальчишкам с мячом, как там возникал и Штоп. Деваться было некуда – его брали в игру. А ему важнее важного было ударить мяч головой. Он носился по полю, раскрасневшийся и потный, терял ботинки и орал отчаянно, с надрывом: «На головку! На головку подай, сучара!» И если ему навешивали мяч на голову, он подпрыгивал с зажмуренными глазами и посылал мяч лысиной куда угодно,

только не туда, куда нужно, но после этого был счастлив. «Ну что, Иван Горыныч? – ехидно говорил он потом мячу. – То-то, Иван Горыныч, сучара!»

У старика были какие-то особые, загадочные отношения со словами вообще и с человеческими именами в частности. Покойную жену, например, он называл Жозефиной, хотя по документам она была Зинаидой, а если сердился на дочь Камелию, то ругал ее Вирсавией. А вот Галину Леонидовну Татаринovu – она жила напротив – он прозвал Гальперией.

В Жунглях, впрочем, многие называли Галину Татаринovu другим, еще более странным прозвищем – Извольте Соблаговолить или Соблаговолите Изволить. Всю жизнь она работала учительницей русского языка и литературы. Высокая, стройная, миловидная, всегда аккуратно одетая и сладко пахнущая, она воротила нос от Жунглей и их обитателей, влачивших растительную, бездуховную жизнь. Однажды на уроке она сказала: «Воспитанный человек знает, чем *извольте соблаговолить* отличается от *соблаговолите изволить*». И за это ее, конечно, невзлюбили, потому что она так и не соизволила объяснить, чем же одно отличается от другого. Для Жунглей она была слишком уж столичной штучкой.

Ее муж-инженер попал в аварию и двадцать шесть лет, до самой смерти, провел в инвалидном кресле. Галина Леонидовна мыла его, кормила и читала ему вслух. Муж лежал опухший, с мешками под глазами, от него всегда пахло мочой, хотя Галина Леонидовна мыла его два-три раза в день и еще протирала нашатырным спиртом, чтобы не было пролежней. Он смотрел на нее из-под полуопущенных век и говорил: «Заведи нам ребенка», но жена только в ужасе трясла головой: как это она заведет ребенка от другого при живом муже? Конечно, он раздражал ее своим угрюмым молчанием, вспышками язвительности. Иногда ей казалось, что он ненавидит ее, и тогда она тоже начинала его ненавидеть. Но он был ее мужем, ее первым мужчиной. Вдобавок такие понятия, как «стыд» и «душа», были для нее не пустыми звуками, поэтому мысль о ребенке от чужого мужчины казалась ей дикой и даже унижительной.

Когда она однажды выложила все это мужу, он ответил усталым надтреснутым голосом: «Запомни, Галя, жизнь подчиняется только одному закону – второму закону термодинамики. То есть теплота сама собой переходит лишь от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой и не может самопроизвольно переходить в обратном направлении. Из этого следует, что душа, возможно, и есть, но бессмертия не может быть, а поэтому ты дура, если отказываешься завести ребенка». И заплакал.

Когда он умер, она решила подчиниться второму закону термодинамики и перестала красить губы. Но ребенка так и не завела: у нее были свои законы.

Штоп часто заходил к одинокой женщине – починить электропроводку, утюг или подтекающий водопроводный кран. Однажды она попросила его починить туфли. Штоп починил, велел Галине Леонидовне надеть туфли и пройти по комнате. Она надела, прошла – и попала. Когда потом изумленные мужчины спрашивали старика, как ему удалось уговорить эту фифу, Штоп отвечал: «А чего уговаривать? Я ж мужик, и гитлер у меня еще ахтунг, а не хенде хох. Всех делов-то. Чего товару без дела валяться?» Товар был еще неплох: бездетная вдова сохранила девичью фигуру и упругую грудь.

С того дня Галина Леонидовна стала Гальперией. Поначалу она воспринимала такую перемену судьбы как катастрофу: Штоп никогда в жизни не чистил зубы, потому что в Якутии никто их не чистит.

– При чем тут Якутия? – удивлялась Гальперия. – Ты же не был никогда в Якутии и не знаешь даже, где она находится.

– А на хера мне ее знать? – упорствовал Штоп. – Не чистят, и все. И я не стану: я с этой вашей пасты дрищу.

Гальперии было стыдно: соседи, конечно, сразу узнали, что она стала женщиной этого невразумительного пьяницы с гармошкой. Она кляла себя за минутную слабость. Первое время она днями не показывалась на улице, запиралась, умоляя оставить ее в покое. Но Штоп колотил в дверь изо всех сил и орал на всю округу, и она ему открывала.

Он приходил к ней в пиджаке со значком общества книголюбов на лацкане, с бутылкой самогона и гармошкой. Она сидела как замороженная на стуле, сложив на всякий случай руки на Библии, смотрела расширенными глазами на этого дикого мужчину, который пил самогон с вареньем, пердел, нес какую-то ахинею, состоящую из одних местоимений и междометий, а потом играл на гармошке свои ужасные частушки, подмигивая несчастной женщине:

Мы ебали все на свете,
Кроме шила и гвоздя:
Шило колет нам залупу,
А гвоздя ебать нельзя!

Потом Штоп хватал Гальперию за руки и заставлял кружиться с ним в каком-то папуасском танце, залихватски ухал и свистел, а после этого тащил в соседнюю комнату и наваливался, бормоча: «Трусов-то понадевали, сучары!»

Но больше всего Галину Леонидовну ужасало то, что она испытывала удовольствие и помимо воли начинала совершать непристойные в ее возрасте и давно, казалось, забытые движения, а потом и вовсе обнимала мужчину изо всех сил, обхватывала его своими длинными столичными ногами и кричала так, что из носа шла кровь.

Потом Штоп сидел на краю кровати, задумчиво курил и похлопывал ее по Европе, а она держала его за руку, сонно улыбалась и хотела еще.

Со временем она перестала стесняться Штопа, иногда даже готовила для него еду и читала вслух Библию. Для нее Писание было литературным произведением – довольно грубым и бессвязным, полным насилия, непристойностей и безмозглой любви к Богу – точно такой же, впрочем, любви, какую испытывал Штоп к Гальперии и внуку. Штоп слушал Библию внимательно и только иногда покачивал головой: «Чего творят, сучары!»

Все эти древние цари, воины и пророки были одной крови с Штопом из Жунглей и бесконечно далеки от Галины Леонидовны. Поэтому когда врач сказал ей, что она беременна, Гальперия растерялась: она хотела ребенка, потому что ей было сорок восемь, но боялась, что от Штопа можно родить либо Франца-Фердинанда, либо Камелию.

Никто не знал, от кого Камелия родила Франца-Фердинанда. Ей было шестнадцать, когда на Павелецком вокзале она попала в переделку. Выходя из женского туалета, Камелия увидела у входа в мужской троех солдат. Один из них держал что-то в руках, а друзья с интересом это что-то разглядывали и оживленно комментировали. Камелия замедлила шаг, солдат ей подмигнул, и она ему, конечно же, кокетливо улыбнулась. Ее подозвали: «Глянь-ка сюда!» Ей, конечно, стало любопытно, а вдобавок она надеялась хоть глазком посмотреть на писсуар, который еще никогда не видела. Она подошла, ее втолкнули в мужской туалет, – время было позднее, там никого не оказалось, – двое стали срывать с нее одежду, а третий поднес что-то страшное к ее лицу и прошипел: «Пикнешь – змею в жопу засажу!» Они изнасиловали ее и смылись, а на прощание сунули ей что-то в руку. Когда Кама пришла в себя, она обнаружила у себя в кулаке огурец. Это был самый обыкновенный огурец с черной попкой – его-то солдаты и выдали за змею.

«Зато теперь я знаю, что такое писсуар, – сказала она соседу Генке Никитину, которого все звали Крокодилом Геной. – И теперь мы можем трахаться как порядочные. Даже при свете». И включила свет, чтобы Крокодил мог получше ее разглядеть.

Камелию часто сравнивали с коровой или даже с двумя коровами, но на самом деле она была огромной страной. На юге ее лежали две громадные волосатые ноги с коленями, которые тонули в наплывавшем отовсюду жире. К северу ноги сходились, образуя глубокое, мрачное и сырое лесистое ущелье, над которым крутой рыжий лобок пылал, как храм Божий на солнце. Мелкий кустарник, который торчал из расселины, переходил в непроходимые заросли, тянувшиеся до самого пупка, напоминавшего глубокую воронку, и подступавшие даже к подножию груди. Собираясь на свидание, Камелия брила живот, но дня через два-три он снова покрывался густым колким волосом. Тяжелые складки пересеченной местности поднимались к груди, на которую Творец израсходовал всю подручную мировую материю, создав два умопомрачительных купола и увенчав их коричневыми сосками необыкновенной высоты. Грудь ее матери Велосипедистки были прыщиками по сравнению с сиськами Камелии, которые могли бы спасти от голода все население Черной Африки, включая миссионеров, их собак, котов и мышей, а заодно заправить их джипы. Однажды девчонки устроили представление в душевой школьного спортзала: каждая закладывала под грудь карандаш и выпрямлялась, и если карандаш падал на пол, грудь признавалась классной. Камелия неделю ходила с карандашом под грудью, не испытывая при этом никаких неудобств. Ее подбородок и нос лишь угадывались в пышном изобилии пунцовых щек. Даже лоб у нее был пухлым и мягким, а если что и было у Камы твердого, так это пятки – расплюснутые, желтые, с черными трещинами, чудовищные, как пустыня Каракумы с ее выжженными такырами. Тощий и злобный мужичонка – метр с кепкой – по прозвищу Антон Иванович Сердится, у которого при виде Камелии в глазах появлялось отчаяние, называл ее задницу фортецией, и для осады этой фортеции потребовалось бы немалое богатырское войско с пушками вроде тех, что использовались при штурме Севастополя: выпущенная из них стальная болванка летела на пятьдесят километров и зарывалась в землю на тридцать метров. Камелия была державой, столбашенной твердыней, одним из тех китов, благодаря которым земля держалась над поверхностью кипящего мирового молока, или одним из трех слонов, на которых стоял мир, или хотя бы ногой того слона. Господь сотворил ее лично, с таким же рвением, с каким творил землю, небо и Великую китайскую стену. На Камелию пошло так много стройматериалов, что на Европу уже не осталось: взгляните на карту, найдите там Бельгию или, например, Данию, и вы поймете, чем все это обернулось для Старого Света. Словом, чтобы поцеловать Камелию, нужны были надежные карты, компас и недюжинная отвага.

Она проводила перед зеркалом часы, подрисовывая глаза, крася губки и томно шурясь, а потом, натянув насколько только можно черный кружевной чулок, чуть не лопавшийся на ее ляжке, выпячивала грудь, грозно топала высоким каблуком и говорила совсем детским, тонким голоском: «Ну не красавица! И что? Но ведь хорошенькая!» В голосе ее звучал вызов – вызов матери, которая не любила свою дочь.

Камелии было шесть лет, когда мать сказала ей: «Нет, не красавица!» Она собиралась в первый класс, крутилась в новом платье перед зеркалом в прихожей, и вдруг мать остановила возбужденную, раскрасневшуюся девочку своим ледяным указательным пальцем, уперев его дочери в лоб, и проговорила задумчиво: «Нет, не красавица!» От неожиданности, от ужаса, от ледяной иглы, пронзившей лоб и залившей холодом голову, Камелия обмочилась. К тому времени она уже понимала, что отличается от других детей: сверстники смеялись над ее непомерностью, но она особенно не обижалась. А вот слова матери и ее ледяной палец погрузили Камелию во мрак и хаос.

Каждую ночь она мочилась в постель, и каждое утро ее простыня вывешивалась на забор, и это видели все соседи, что, конечно, только усугубляло мрак и хаос. Мать стала будить ее среди ночи, усаживала на горшок и шипела: «Ссы же, горе мое, ссы!» Камелии казалось, что всю оставшуюся жизнь она проведет на горшке под это змеиное «Ссы!»

Вечером после похорон матери она устроила торжественные похороны горшка: обернула фольгой, обвязала красной ленточкой, навалила в него кучу, закопала в чухлом садике за домом, плюнула и помочилась сверху, а потом напилась и дала Крокодилу Гене.

Зато теперь Камелия носила короткие парчовые майки, из-под которых торчало золотое кольцо, вделанное в пупок, и самые короткие в мире юбки или шелковые шорты, туго обтягивавшие ее стоквартирную задницу. А когда она шла по Жунглям, покачиваясь на двадцатисантиметровых каблуках, ее тело источало такой аромат, что у мужчин начинали слезиться глаза.

Трахаться с Камелией было то же самое, что воевать со всей Россией – со всей ее ленью, пьянью и дурью, с ее лесами, полями и горами, великими реками и бездонными озерами, с медведями, зубрами и соболями, со всеми ее цивилизованными народами и дикими племенами. Ведь кажется, что все эти народы и племена только и ждут, чтобы их кто-нибудь заставил наконец работать, они гнутся как солома и непрочны как глина, они терпят и только таращатся, но вскоре, однако, от бития звереют, хватаются за дубину и ну долбать сырым комлем по башке и гнать врага, пока не загонят насмерть, а потом еще метра два будут гнать мертвого.

Камелия никому не отказывала, и за это владельцы ларьков и киосков, где она работала продавщицей, ее просто обожали. Она их всех называла черножопенькими, принимала от них подарки вроде жевательной резинки или недорогих трусиков «с кружавчиками», а после рюмочки запросто расстегивала лифчик, потому что ей становилось жарко. И потом все эти здоровенные ребята, уроженцы великих гор, трудились до седьмого пота, а она все лежала себе на спине, раскинув свои огромные ноги, и сонно улыбалась. Но уж если кому-то удавалось ее расшевелить, тогда да, тогда она просыпалась, тогда она преображалась, и тогда разверзались ее хляби телесные. Она обхватывала мужчину своими громадными ручищами и ножищами, прижимала его к своей немыслимой груди и вздымалась вместе с одуревшим любовником, как гигантская волна, что убивает беспечных жителей земли и разрушает прибрежные города, она содрогалась так, что трескалась земная кора, она билась, как исполинский Левиафан, и бездна под ней была сединой, и кричала она, как полки со знаменами, а потом бережно откладывала полузадушенного, полураздавленного любовника в сторонку и, склонившись над его лягушачьим тельцем, говорила нежным девчачьим голоском: «Вот и поебушкались, котинька, вот и ладушки, мой молодец». После чего она мирно лежала рядом с обессиленным любовником, до которого не сразу, нет, но мало-помалу, постепенно начинало наконец-то доходить, что вот он хотел взять ее в глаза ее и проколоть ей нос багром, а на самом деле получилось так, что это она его только что оттрахала как кутенка, а потом еще и пожалела, как только Господь жалеет своих заносчивых, но неразумных детей.

Когда соседки начинали ругать Камелию за непотребство и обзывать Жопой, Штоп только ухмылялся: «С блядцой девка, это да, в мать. А жопа что ж, без жопы женщина – стрекоза китайская, а не женщина».

Раз-другой в месяц она обязательно выбиралась на Тверскую, в кафе. Она заказывала маленькую чашку эспresso, закуривала тонкую сигарету и прикладывала к уху мобильный телефон. Телефон ей подарил один из ее «черножопеньких». Разговаривать ей было не с кем, да и денег на телефонном счете не было, но Каме нравился процесс: сидеть в кафе с телефоном у уха – это так круто, так гламурно...

По вечерам за нею заезжал на мотоцикле Крокодил Гена, и они часами гоняли по окрестностям, вопя во все горло и швыряя в собак пустые жестянки из-под пива.

Крокодил часто ночевал у Камелии, потому что жить в одной квартире с бабушкой становилось все труднее. Она боялась, что внук-пьяница вынесет из дома все мало-мальски ценное, что можно обменять на водку, и потому на ночь надевала ожерелье из фальшивого жемчуга, два платья, летний сарафан, обезьянью шубу и туфли-лодочки, привязывала к себе веревками серебряные ложки, часы-луковицу с цепочкой, хрустальную вазу и аккордеон покойного мужа.

Всю ночь она боялась пошевелиться, потому что под подушкой у нее были спрятаны три фарфоровые тарелки со скрещенными голубыми мечами на доньшке, а на груди спала дряхлая персидская кошка, из которой старуха мечтала построить дорогую зимнюю шапку.

Крокодил, однако, из дома никогда не таскал. После того как его мать умерла от рака, а отец погиб на стройке, Гена стал главой семьи, поскольку полувыжившая из ума бабушка была не в счет. Троих сестер-толстухек Веру, Надежду и Любовь Крокодил воспитывал как мог и как умел: кормил пельменями, заставлял менять трусики каждый день, выдавал деньги на школьный буфет, а вечерами трахал по очереди, чтоб не забывали, кто в доме главный. И вообще он считал, что девственность – причина безнравственности: «С целками сладу нету – тарелку вымыть не заставишь».

Он помогал местным бандитам, которые занимались угонами машин, и этих денег вполне хватало на еду и одежду. Все продукты, которые он покупал в магазине, Крокодил делил на две категории: напитки у него были «чем поссать», а твердая пища – «чем поспать».

Гена был добрым парнем и редко пользовался своей силищей, но если перебирал водки, то мог ни с того ни с сего ввязаться в драку с кем угодно. Однажды он набросился на компанию дворников-таджиков, которые покуривали во дворе, сидя на корточках. Гена расшвырял их, а одного схватил за горло, пригвоздил к стене и заорал: «Знаешь, кто я? Я Москва. А ты – Америка. И сейчас Москва покажет тебе дружбу народов! В глаза смотреть, тля!» И, все так же прижимая тщедушного таджика к стене, ухитрился расстегнуть ширинку, извлечь свою огромную дружбу народов и помочиться на эту Америку, которая только таращилась на страшную Москву, боясь опустить глаза.

Из армии – он служил в Чечне – Крокодил вернулся с орденом. Вспоминать о службе он не любил. А когда его донимали расспросами, за какие такие подвиги он получил награду, Гена только и выдавливал из себя со смущенной ухмылкой: «Один раз выстрелил – два раза попал».

Сестра его Любовь вышла замуж за небритого бетонщика и родила двойню. Вера же с Надеждой торговали на рынке мороженой рыбой и жили с татарами.

Гена устроился слесарем в автосервис и по-прежнему помогал бандитам-угонщикам.

Штоп не спал. Он слышал, как по крыше стучал дождь, к утру перешедший в ливень, как ворочалась Гальперия, как Камелия с Крокодилом прокрались в спальню, возились, а потом блевали. Штоп прислушивался к дыханию Франца-Фердинанда – оно было неровным, учащенным. А под утро, когда усталось взяла свое и старик наконец погрузился в сон, Франц-Фердинанд умер. Он весь задрожал, тоненько заныл, засучил ногами и вдруг вытянулся и замер.

Штоп вскочил и стал трясти внука, потом вытащил из кармана ножик и несколько раз уколол мальчика в ягодицу.

Гальперия лежала на узком диванчике, смотрела на старика и не могла от страха пошевелиться.

– Ну, чего развалилась тут! – закричал Штоп. – Вот он и помер! Он помер, а ты лежишь! Чего лежишь, когда он помер? Ну чего? Ты что, Гренландия тут мне, чтобы валяться?

Гальперия села на диване и заплакала, закрыв лицо руками.

Из спальни высунулся Крокодил Гена.

– Свет включить? – хмуро осведомился он.

– На хера твой свет теперь нужен? – выверился Штоп. – Чего стоишь? Тебе что, трудно свет включить?

Крокодил включил верхний свет.

Мальчик лежал на боку с широко открытым ртом. Штоп попытался закрыть его рот, но у него ничего не получилось. Тогда он сорвал с дивана простыню и завернул мальчика с ног до головы, а сверху набросил пальто. Дико огляделся.

– Ты чего, Алеша? – испуганно спросила Гальперия. – Куда ты?

Мотнув головой, Штоп схватил мальчика в охапку и выбежал из дома.

В халате на голое тело вышла из спальни Камелия. Гена обнял ее за плечи.

– А куда он побежал? – испуганным шепотом спросила она. – Он в больницу, что ли?

– Не знаю, – сказал Гена. – Просто побежал... Умер пацан-то...

– Надо задом наперед ходить, – сказала Камелия тупо, кладая зубами. – Китайцы ходят задом наперед, поэтому и живут сто лет.

Она попыталась показать, как надо ходить спиной вперед, но Крокодил прижал ее к стене. Она обмякла и тихо заплакала.

– Чего надо-то? – спросил Гена.

– В больницу надо, – сказала Гальперия. – Справку о смерти надо получить. Без справки хоронить нельзя.

Крокодил быстро оделся и убежал. Было слышно, как он заводил мотоцикл.

– Что теперь будет? – спросила Камелия, глядя в пустоту.

Гальперия промолчала.

До утра Штоп бродил под дождем по Жунглям, прижимая к груди завернутое в тряпье тело внука. Когда появились прохожие, он вернулся домой. К тому времени Крокодил привез справку о смерти. Выписывая справку, врач сказал: «Старикам и дуракам даем не глядя». – «А вскрытие?» – «Да знаем мы этого вашего Йозефа Штрауса! Что там искать-то у него внутри?» – «Франц-Фердинанд», – поправил врача Гена. «Я и говорю: Йозеф Штраус». Гена хотел набить ему морду, но не стал: врач запросто мог засветить его рентгеном насмерть.

Пока женщины мыли мальчика, Штоп и Гена съездили за гробом. Детских не оказалось, Штоп ждать не захотел, поэтому взяли готовый, для взрослого.

– Еще капусты надо побольше, – сказал Штоп. – И соли.

Крокодил Гена приволок мешок капусты, а Гальперия сбегала в магазин за солью. Штоп тщательно натер Франца-Фердинанда солью и завернул в капустные листья. Все молчали, боясь возражать старику, а он только сопел, обрывая кочан за кочаном. «Зато не протухнет, – бормотал он, – свеженький будет».

Женщины отправились за тканью для гроба, а Штоп ненадолго прилег в соседней комнате.

Крокодил Гена снял ботинки, лег в гроб и опустил крышку.

Когда женщины вернулись, Штоп снял крышку и увидел Гену, лежавшего в гробу со сложенными на груди руками.

– Хайль Гитлер! – сказал Гена, улыбаясь во весь рот. – А это я!

– Аллах акбар, – сказал Штоп и дал ему целбана. – А ну вылезь, пидорас.

– Дурак, – сказала Камелия, – разве можно так?

– Да ладно вам, – сказал Гена, вылезая из гроба. – Пошутить нельзя.

– Живым раньше времени в гроб нельзя, – сказала Камелия. – Плохая примета.

– Надо место на кладбище заказать, – сказала Гальперия. – И чтоб могилу вырыли.

– Сами похороним, – строго сказал Штоп.

Дождь шел весь день без перерывов. В квартире было темно, но Штоп не разрешал включать свет. Гальперия пристроилась у окна и читала вполголоса псалмы. Штоп то останавливался перед нею и слушал, склонив голову набок, то начинал ходить из угла в угол, поддавая ногой то галошу, то мячик. На нем были всегдашние его кальсоны с желтой мотней.

– Градусник! – вдруг сказал он. – Градусник забыл!

– Что градусник? – вскинулась Гальперия.

– В жопе там у него он остался.

– Господи! – испугалась Гальперия. – Не надо его больше трогать, Алеша. Подумаешь, градусник!

– Предмет все-таки, – возразил Штоп.

– Да я свой принесу, у меня есть...

– Ладно, пусть, – согласился Штоп. – Ему так, может, спокойнее.

– Спокойнее, конечно. Пусть с градусником будет.

Он сел на пол и принялся резать ножиком туфли, принадлежавшие покойной жене.

Гальперия вздыхала, но помалкивала.

Вскоре вокруг Штопа набралась куча кожаных обрезков.

– Может, ужинать будем? – предложила Гальперия. – Поздно уже.

– Ужинать? – старик поднял голову. – Не, хоронить будем.

– Сейчас? Дождь ведь...

– Я говорю, хоронить будем на хер! – взвился Штоп. – Зови дочь на хер! И Генку зови Крокодила – все ж не чужой на хер!

Гальперия разбудила Гену и Камелию.

– Как хоронить? – удивилась Камелия. – Ночью? Кто ж нас пустит на кладбище?

– Пустят, – с усмешкой пообещал Штоп. – Ты встань у стола смирно и стой, пока не скажу. – Он обвел воспаленными глазами комнату. – Вот какая дизентерия случилась. Надо сказать что-то. – Он посмотрел на Гальперию. – Слова надо сказать, как полагается. Группа товарищей. В труде и в личной жизни.

– Может, свет включить? – сказал Крокодил. – Мы ж не сектанты.

Камелия включила свет.

– погоди, – сказал Штоп. – Штаны по такому случаю надену.

Он натянул брюки, поставил посреди комнаты стул и помог Гальперии на него взобраться. Она сняла очки и подняла лицо к потолку.

– Всем молчать мне тут! – приказал Штоп. – А ты говори, не бойся.

– Господи, – сказала вдруг Гальперия высоким металлическим голосом, глядя в потолок, – на Тебя, Господи, уповаем... Все из Тебя, все Тобою и все в Тебе, Господи, Ты вся полнота жизни, Ты искупление и любовь. Ты проклят, как проклят всяк, висящий на древе, и потому лишь Ты наше спасение и жизнь. Ты создал нас для Себя, и не узнает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Благ Господь к надеющимся на Него, благ Господь к душе, ищущей Его. Взыскуем мы Господа на путях добра и зла, и все пути – Его пути, и жизнь наша – самый опасный из путей Господа, но только этот путь и есть путь истины, и нет иного пути... – Она глубоко, переливчато вздохнула. – Господи, нет пред Тобою невинных, но есть лишь спасенные Тобой. Чистых нет, а твердость наша не твердость камней, и плоть наша не медь. – Помолчала. – Вывели мы колесницы и коней, вывели мы войско и силу, и бились на рассвете и на закате бились, и все полегли, не встали. Не убежит быстроногий, не спасется сильный; со сторожевой башни высматривали мы народ, который спасет нас, но не спасся никто. – Она в отчаянии всплеснула ручками. – Умрут злые, и добрые умрут, умрут ветхие, и юные умрут, умрет земное, умрет смертное, но бессмертное не умрет. Мы прольемся, как вода, и кости наши рассыплются, и сердца станут как воск. Уповаем лишь на Тебя, Господи любви нашей... – Голос ее задрожал, она остановилась, сглатывая и сглатывая, пересилила себя и продолжила говорить хрипло: – На рассвете встали мы и пошли к Господу, нагие пошли и нищие, пустые пошли, не оглядываясь на дома свои, но любовью Твоей оглашены и призваны. Ты позвал, и мы пошли, Господи, и нет на том пути пристанищ, и нет конца пути, ведущего в дом Твой. Достигаем, но не достигнем, вместе, но одиноки, любим, но убиваем, с Тобой, но против Тебя. – Голос Гальперии вновь зазвенел. – Горим Тебе, Господи, в сердцах наших, а сердце Твое сгорает нами и возносится, но не умирает. Ибо сказал Ты: от власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их! – закричала она отчаянно рыдающим голосом, заламывая руки. По белым щекам

ее текли слезы. Голос ее вдруг упал, и она завершила хриплым шепотом: – Прости нас, Господи, прости нас, Господи, прости...

– Ни хера себе! – хрипло прошептал Крокодил Гена.

– Помоги, зараза! – закричал Штоп, хватаясь за гроб. – Что же, мне одному, что ли, тащить его? Лопату возьми! – приказал он дочери. – А ты фонарь!

Гальперия схватила большой фонарь и бросилась вниз по лестнице.

Штоп и Гена вынесли гроб в сад за домом и остановились.

– Куда теперь? – спросил Гена.

– Туда давай, – приказал Штоп. – Под яблоню!

– Это груша.

– Под дерево на хер неси! – зашипел Штоп. – Умник мне тут нашелся!

– Папа, так же нельзя, – заволновалась Камелия. – Это же не по закону, папа!

– Папа! – передразнил ее Штоп. – Вот умрешь сама – тогда и будешь мне командовать.

Дай сюда лопату!

Крокодил Гена сбегал домой за второй лопатой.

Женщины спрятались под зонтами, а мужчины принялись копать яму.

– Не жалей! – прохрипел Штоп. – Рой как для себя!

Они яростно, безостановочно копали под дождем около двух часов, наконец Штоп выпрямился и сказал: «Хватит».

– Неси дрозда сюда, – сказал он Камелии.

– Пингвина, – пояснила Гальперия. – Неси, неси, не спрашивай!

Камелия побежала домой.

– На тебе нитки сухой не осталось, – сказала Гальперия. – Простынешь, Алеша.

– На хера мне нитки? – Штоп мотнул головой. – Нам нитки не надо. Давай, Геннадий Крокодилич, опускай!

Они на ремнях опустили гроб в яму, забросали землей, сверху поставили деревянного обшарпанного пингвина.

– Он его любил, дрозда этого, – сказал Штоп, шмыгая носом. – Пошли, что ли.

– Куда еще? – испугалась Камелия.

Но Штоп не ответил. Он подошел к чугунному Сталину, стоявшему у забора под зонтиком, и уставился на него с ненавистью. Гальперия попыталась взять его под руку, но он оттолкнул ее. Расстегнул штаны и стал мочиться на памятник.

– А теперь ты, Геннадий!

– При бабах ссать не буду, – сказал Крокодил. – Да и не хочу.

Штоп обернулся, посмотрел на него страшно, перевел взгляд на дочь.

– Я не могу! – закричала Камелия. – Я женщина!

– Ладно, я за нее. – Гена расстегнул штаны. – Отвернитесь там!

Когда он сделал дело, Штоп плюнул на памятник.

– Пидорас! – Он пнул чугун ногой. – Какой ты на хер Сталин! Ты Достоевский! Достоевский ты, сучара!

– Достоевский хороший писатель, Алеша, – сказала Гальперия.

– Достоевский он, сучара! – закричал Штоп. – Не Сталин, а Достоевский, сучара! Ясно? Тебе ясно мне тут? Достоевский!

– Хорошо, – Гальперия кивнула, беря его под руку. – Хорошо же.

– Пошли теперь помянем его, – с облегчением сказал Штоп.

Через два дня Галина Леонидовна сделала аборт, ничего не сказав об этом Штопу. После этого, хотя и неважно себя чувствовала, она с раннего утра стала уходить из дома, а возвращалась как можно позднее, чтобы не встречаться со стариком. Километрах в двух от Жунглей

был лесок, туда она и уходила. По выходным здесь бывало шумно: сюда наезжали любители шашлыков с детьми и собаками, но по будням тут никого не было.

Чтобы не думать о Штопе, Франце-Фердинанде и нерожденном ребенке, она брала с собой справочник по пунктуации Розенталя, устраивалась на полянке, на каком-нибудь поваленном дереве, и читала об однородных и неоднородных определениях, об однородных членах предложения, соединенных двойными и парными союзами, о дефисном написании повторяющихся слов... Приближался учебный год, нужно было подготовиться к урокам. Что там ни говори, а Галина Леонидовна была хорошей учительницей.

Утром в воскресенье лес был пуст. Галина Леонидовна читала раздел о знаках препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения, но думала о втором законе термодинамики, обо всех этих телах с высокой и низкой температурой, о Штопе и Франце-Фердинанде, даже о Камелии думала, а еще о любви, которой она, похоже, так и не встретила. Встряхнулась, перевернула страницу. «Рана моя медленно заживала, но собственно против него у меня не было никакого дурного чувства», – прочла она, отметив, что в данном случае слово «собственно» запятыми не выделяется, поскольку является не вводным, а членом предложения. Она захлопнула книгу, отшвырнула сигарету и слепо пошла в заросли, с отвращением думая о запятых, потому что не было ничего омерзительнее запятых и слов, грамматически не связанных с членами предложения. Схватила рукой за горло, мотнула головой, уткнулась в дерево и замерла.

На полянке спиной к ней стоял Штоп. Хватаясь руками за ветки и глупо, по-киношному приседая, Галина Леонидовна обогнула полянку и увидела лицо старика. Оно было, как всегда, полувыврито и воспалено. В правой руке у Штопа был топор, левой он опирался о высокий пенек.

– Ну что, Сука Ивановна, – зловещим голосом произнес он, – допрыгалась, сучара? Ну так вот!

Он взмахнул топором, ударил и отпрянул, осел. Гальперия бросилась к нему. Штоп попытался что-то сказать, но лицо его вдруг стало белым, он повалился набок, его вырвало. Из раны хлестала кровь.

Подвывая от страха, Гальперия сорвала с головы косынку, свернула жгутом и перетянула его левую руку, стараясь не смотреть на отрубленную кисть, которая валялась на земле у пня.

– Сучара, – пробормотал Штоп. – Ну и сучара...

Гальперии наконец удалось остановить кровотечение. Штоп трясущейся рукой достал из кармана алюминиевую солдатскую фляжку.

– Открой, – приказал он хриплым голосом.

У Гальперии тоже тряслись руки, и она с трудом отвинтила крышку.

Штоп глотнул, еще и еще раз. Запахло сивухой.

– Варенья нет, – прохрипел он, – сейчас бы пуншику сделать... Милое дело пуншик, сердечное на хер...

– Алеша, боже мой, зачем?

– Да сука она, – сказал он. – Сволочь стала, а не рука...

– Рука?!

– Ну а кто же? Не я же. Рука, конечно. Я спать ложусь, а она мешает, я туда, а она не туда, я сюда, а она, сучара, поперек...

Гальперия затрясла головой. Ей показалось, что Штоп сошел с ума. Она по-прежнему боялась взглянуть на отрубленную кисть.

– Пойдем. – Она помогла ему встать. – Домой надо... В больницу... Держи вверх, чтобы кровь не вытекала...

– Спать мешает, жрать мешает, ссать мешает... Все штаны себе на хер обоссашь, пока поссашь, а все из-за нее... Как Фердинанд помер, так она себя тут мне и проявила. Хуже Ста-

лина. Хуже Достоевского, сучара. За волосы дергает. В дверь не дает пройти. Ты понимаешь? – Он остановился, снова выпил из фляжки. – Я в дверь, а она встанет поперек и не пускает! Ну не сучара? Сучара, – с удовольствием сказал он. – Перхоть болотная. Ночью проснись, а она мне в лицо, в лицо, в лицо! Так ведь можно и без глаз остаться...

– Да пойдем же, горе ты мое! – закричала Гальперия, топая ногой.

– Вот выпей, тогда пойдем. – Штоп вдруг хитро улыбнулся. – А ну-ка, выпей, а не то – нет, ни за что не пойду. Лягу тут и буду себе лежать к херам собачьим.

Гальперия схватила фляжку, хватанула самогона, закашлялась.

– Э! – спохватился Штоп. – А рука? Не, без руки я не пойду.

– Да брось ты ее! Брось!

Мотая головой, Штоп вернулся к пню, завернул отрубленную кисть в лопух и вручил Гальперии. Она взяла не глядя.

– Больше не будет мешать, – сказал он, вынимая из кармана пачку сигарет. – Помоги закурить. Интересно же покурить одной рукой.

– Какая разница, боже мой... – Гальперия держала отрубленную кисть перед собой, не зная, что с ней делать. – Одной, двумя...

– Одной – не двумя, – возразил Штоп.

Они вышли из леска и двинулись к Жунглям. Штоп прижимал искалеченную руку к животу, курил и то и дело прикладывался к фляжке. Гальперия несла перед собой отрубленную кисть, завернутую в лопух, и старалась держаться, чтоб не сойти с ума. Штоп же поглядывал на нее и хитро усмехался.

На лужайке за типографией ребята гоняли мяч. Увидев их, Штоп встрепенулся, прибавил ходу.

– Да ты что! – закричала Гальперия. – Ты не вздумай! Ты же умрешь от потери крови, Алеша!

– Не, на хера мне помирать? – возразил Штоп, протягивая ей фляжку. – Подержи-ка. – Кивнул на отрубленную руку. – И эту сучару держи крепче, а то мало ли что тут она еще...

И побежал к ребятам.

– На головку! – бешеным голосом закричал он. – На головку подай!

Обессиленная Гальперия опустила на ржавый холодильник, валявшийся тут с незапамятных времен, и тупо посмотрела на руку, завернутую в лопух.

– Ну что? – прошептала она. – Вот тебе и термодинамика. Вот тебе и любовь, Сука Иванова...

– На головку! – еще отчаяннее завопил Штоп, прижимая окровавленную левую руку к животу, а правой хлопая себя по голове. – Сюда подай! Сюда! На ленина! На ленина на хер!..

* * *

В начале лета Гальперия уехала на юг. Ей предложили поработать два месяца в детском лагере неподалеку от Анапы, где собирали ребятшек с филологическими наклонностями, и она тотчас согласилась. Не сказала ничего Штопу – села в поезд и уехала. Легла на верхней полке, натянула одеяло на голову и проснулась только у анапского перрона.

Два месяца она разговаривала с детьми об уменьшительно-ласкательных суффиксах у Достоевского и загадках русских прилагательных. Она вставала в шесть, ела кизил с косточками и много плавала. Похудела, загорела и к концу первого месяца купила самые бесстыжие шорты, какие только нашлись в магазине. За нею вяло и безуспешно ухаживал коллега – учитель из Вологды, брюхатенький коротышка с белесыми ресницами. Наконец-то она дочитала Гаспарова и взялась за дневники Кафки. В июле у нее случился бурный роман с шестнадцатилетним туповатым красавцем из Саратова – по вечерам они заплывали далеко в море, а потом

долго занимались любовью на песке за камнями. Рослая, загорелая, белокурая и голубоглазая, она получила от детей прозвище Брунгильда.

Вечером накануне отъезда она побрила голову, поужинала в кафе, выпила бокал розового вина с французских виноградников под Анапой и выкурила тонкую сигарету. После этого по тропинке, начинавшейся за старым маяком, спустилась на каменистый пляж, разделась и поплыла на закат, то выкрикивая, то бормоча: «Кегли, джунгли, фигли-мигли... Кегли, джунгли, фигли-мигли...»

Она не торопилась. Ей хотелось заплыть как можно дальше от берега, так далеко, чтобы не осталось сил на обратный путь.

Но утонуть ей не удалось. Километрах в пяти от берега ее подобрала братья Грушинские, которые по ночам вывозили компании туристов на морские прогулки. Она была в полубессознательном состоянии. Николай Грушинский уложил ее в машину и отвез домой. Она не стала плакать, когда очнулась и поняла, что осталась в живых, а просто рассказала Николаю обо всем.

«Если хочешь, – сказал он, – можем попробовать еще раз... вместе...»

Николай был ранен в Чечне, потерял семью и в сорок два года был вчистую списан из армии, после чего вернулся в станицу под Анапой, в родительский дом, и здесь вместе с младшим братом Сергеем и сестрой Ольгой, хмурой бородавчатой старой девой, занялся выращиванием помидоров и сладкого перца. Со временем они купили моторную яхту и построили рядом с домом отельчик на двенадцать номеров.

Галина Леонидовна отослала в школу заявление об увольнении и на следующий же день взялась за гостиницу. По утрам она встречала туристов в аэропорту или на железнодорожном вокзале, размещала в номерах, следила за исправностью водопровода и канализации, возила белье в прачечную, убирала в комнатах, вела бухгалтерию, а по вечерам угощала гостей домашним вином. Между делом они с Николаем поженились.

Незадолго до Нового года она вдруг с изумлением обнаружила, что беременна. А когда родила девочку, которую назвали Катей, Николай подарил ей норковую шубу за двести пятьдесят тысяч и красный «Опель Корса» с коробкой-автоматом. Николай гордился пышной статной женой, которую соседи за глаза называли «леди Груша». Бородавчатая Ольга следила за тем, чтобы Галочка не поднимала тяжестей, звала Катю котенком и готовила для них вкусные супы из протертых овощей. По субботам они иногда всей семьей выезжали на пустынные пляжи, жарили шашлыки, пили вино и пели хором казачьи песни – не очень громко, чтобы не разбудить Катю, спавшую в коляске.

– Не скучаешь по Москве? – спросил однажды Николай.

– Я по тебе скучаю, – ответила жена, покраснев. – Даже когда ты рядом, мне тебя мало.

– А про какие такие джунгли ты во сне бормочешь?

– Джунгли? А, джунгли... Кегли-джунгли, фигли-мигли... – Она рассмеялась. – Это стишок такой... шутка... Привязался – не отвязаться...

Получив от Гальперии прощальное письмо из Анапы и узнав о том, что она через риелторскую фирму продала свой дом, Штоп только пожал плечами.

– Хотя она мне никогда и не была стрекозой, – сказал он, – я-то для нее все равно был муравьем.

После смерти Фердинанда, замужества Камелии и ухода Гальперии Штоп остался в одиночестве. Иногда он выходил во двор, подсаживался к доминошникам, но в разговорах не участвовал – только кивал головой да почесывал кулю, спрятанную в черный носок. По вечерам сидел перед телевизором, но пил мало.

Месяца два он жил с парикмахершей Наташкой, шалавой бабенкой лет пятидесяти. Маленькая, взъерошенная, тонконогая, по вечерам она выпивала водочки и, размазав по губам багровую помаду, выносила на крыльцо парикмахерской стул. Высоко закинув ногу на ногу,

играла на гитаре, распевая диким хриплым голосом цыганские романсы и сверкая при этом тремя золотыми и четырьмя железными зубами. Наташка часто напивалась и бузила, и в конце концов Штоп ее прогнал: «От тебя, Наташка, никакой пользы, кроме говна».

Однажды он достал с чердака велосипед и отправился в путешествие по окрестным деревням и поселкам. Кандаурово, Новостройка, Больница, Чудов – он всюду побывал. С парой бутербродов и бутылкой самогона в рюкзаке он навещал дальних родственников: в Кандаурове жила тетка его покойной жены – Эсэсовка Дора, женщина с железными зубами и с кастетом в кармане, которая держала в страхе родню и соседей, а в Новостройке – несколько рядов унылых пятиэтажек у самой Кольцевой – выпивал с дружкой Сунбуловым, с которым когда-то слесарил на фабрике. В Чудове – маленьком городке километрах в пяти к югу от Жунглей – жила двоюродная сестра Штопа Светлана, знахарка и колдунья, которую прозывали Свининой Ивановной. Но Дора недолюбливала Штопа, Сунбулов слишком быстро напивался, а Светлана была озабочена устройством слепой внучки, оставшейся без матери, и своими многочисленными хворями, от которых не помогали ни травы, ни магия.

И вскоре конечным пунктом его поездок стал ресторан «Собака Павлова» на центральной площади Чудова. Это заведение – сумрачный просторный зал с колоннами, сводчатыми потолками и массивной стойкой, обитой листовой медью, – уже давно было выставлено на продажу, но покупателя все не находилось, так что у местных стариков пока оставалось место, где они могли выпить пива, вспомнить прежнюю жизнь и посетовать на нынешнюю, которая маячила восемнадцатиэтажными башнями над верхушками чудовских лесов и с каждым годом становилась все ближе.

Штоп был здесь желанным гостем, потому что всегда привозил с собой бутылку-другую ломового самогона.

К вечеру в «Собаке Павлова» собирались завсегдатаи – скрипач Черви в рыжих яловых сапогах, с огромной скрипкой в обшарпанном футляре, прокурор Швили, который не расставался с рукописью своих мемуаров, сшитых суровой ниткой, больничный завхоз Четверяго в чудовищных сапогах, бывший начальник почты – пузатый коротышка Незевайлошадь, который славился своими черными усами. Это были не усы, а чудо природы, произведение дурацкого искусства, настоящее черт-те что. Они были густыми, вьющимися, они спускались курчавыми струйками к круглому его подбородку, а потом взлетали к пухлым щечкам, сворачиваясь заливчатскими колечками. Незевайлошадь холил и лелеял усы, на ночь обертывал их тряпочкой, смоченной в секретном растворе, расчесывал тремя расческами и удобрял какой-то мазью. Пьяница Люминий клялся, что Незевайлошадь заказал ему специальный станок – решетчатый ящик с подголовником сверху, чтобы можно было спать стоя, не мешая усам...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.